

С. П. Давыдов и др.

Александр
АМФИТЕАТРОВ
Стремленная совесть



Александр Амфитеатров

Отравленная совесть

I

Людмиле Александровне Верховской исполнилось тридцать шесть лет. Восемнадцать лет, как она замужем. Обе ее дочери — Лида и Леля — погодки, учатся в солидной частной гимназии; Леля идет классом ниже старшей сестры. Сын Митя, классик, только что перешел в седьмой класс. Людмила Александровна слывет очень нежною матерью; а в особенности любит сына. Она сознается:

— Пристрастна я к нему, сама знаю... но что же делать? Митя — мой Вениамин.

В московском обществе, не в самом большом, но, что называется, порядочном: среди не вовсе еще оскуделого дворянства Собачьей площадки, Арбатских и Пречистенских переулков, среди гонящейся за ним и подражающей ему солидной буржуазии, — опять-таки только солидной, старинной, а не с шальными миллионами, невесть откуда выросшими, чтобы вскоре и невесть куда исчезнуть, — Людмила Александровна пользуется завидным почетом. Ее ставят в образец светской женщины хорошего тона. Злополучнейший из московских мужей, Яков Асафович, или, как любит он, чтобы его звали Иаков Иосифович Ратисов, всякий раз, когда переполняется чаша его супружеских горестей, колет своей дражайшей, но легкомысленной половине глаза примером Людмилы Александровны:

— Олимпиада Алексеевна! побойтесь Бога! ведь у нас с вами — не жизнь, а канареечное прыганье какое-то: с веточки на веточку, с жердочки на жердочку — порх, порх!.. Я не говорю вам: откажитесь от общества, от удовольствий, забудьте свет, превратитесь в матрону, дома сидящую и шерсть прядущую. Сделайте одолжение: вертитесь в вашем обществе, сколько вам угодно, — не препятствовал, не препятствую! и не могу, и не хочу препятствовать!.. Но все же есть мера: даже птица, наконец, и та свое гнездо помнит. Вам же — дом, дети, я, слуга ваш покорнейший, — все трын-трава. Мы для вас — точно за тридевять земель живем, в Полинезии какой-нибудь. Если у вас не сердце, а камень, если вам не жаль нас — по крайней мере, посовеститесь людей!

— Каких же людей? — огрызалась Олимпиада Алексеевна — рыжеволосая, белотелая «король-баба», беспечности и беспутства которой не унимали ни порядочные уже годы, ни видное общественное положение мужа.

— Да хоть падчерицы вашей, Людмилы Александровны Верховской. Уж кажется, никто не скажет, что не светская женщина. И живет не монахиней: всюду бывает, все видит, со всеми знакома. А при всем том посмотрите: в доме у нее порядок, в семье — мир, тишина, согласие; муж — не вдовец при живой жене, дети — не сироты от живой матери...

— Нашли кем попрекать! — равнодушно возражала Олимпиада Алексеевна. — Людмилую!.. Вы бы еще статую какую-нибудь мраморную припомнили... Людмил разве много на свете? Она у нас одна в империи. Я и то удивляюсь, что ее еще держат на свободе, а не заперли в музей под стекло, в поучение потомству... Знаете, как Кузьма Прутков говорил: «Друг мой, удивляйся, но не подражай!..» Людмила уже и в институте была «парфеткою».

— Но ведь и вы же, сказывают, — сколько это ни невероятно — в институте были из парфеток? — язвил Ратисов.

— Была, да, слава Богу, вовремя опомнилась. А Милочка — так в парфетках на всю жизнь и застряла...

Между тем Людмила Александровна была замужем за человеком и старше ее на целых двадцать лет, и далеко не блестящим ни по уму, ни по внешности. Только сердце для Степана Ильича Верховского Господь Бог выковал из червонного золота, да честен он был — «возмутительно», как смеялись над ним товарищи по службе. Он обладал недурным состоянием, но далеко меньшим, чем оставил его жене покойный отец ее — известный «человек сороковых годов», Александр Григорьевич Рахманов, разделивший по завещанию все свое движимое и недвижимое пополам между единственной своей дочерью Людмилой Александровной и второй женой, Олимпиадой Алексеевной, урожденной Станицевой: о ней именно — во втором браке Ратисовой — только что шла речь. Капитал Людмилы Александровны считался неприкосновенным — «детским». Жили Верховские на довольно крупное жалованье Степана Ильича из солидного московского банка, где он искони директорствовал и справил уже двадцатипятилетний юбилей своего директорства.

За Людмилою Александровною, как за молодой женою пожилого мужа, много ухаживали. Однако Степану Ильичу не приходилось ревновать жену: она была верна ему безусловно. Эта женщина имела счастливый талант — как-то незаметно переделывать своих поклонников просто в друзей, полных самой горячей к ней привязанности, но чуждых любовного о ней помышления. Один из поклонников, возвращенных Людмилою Александровною — как сам он сострил — «с пути бессмысленных мечтаний на путь общественных добродетелей», двоюродный ее брат, судебный следователь Синева, спросил ее однажды:

— Скажите, кузина: как это вы — такая молодая, красивая, умная, живая — ухитряетесь оставаться верною человеку, которого не любите?

— Кто же вам сказал, что я не люблю Степана Ильича?

— Логика. Он немолод, некрасив; нельзя сказать, чтобы хватал звезды с неба...

— Лжет ваша логика. Если хотите знать правду, замуж я шла действительно не любя. Но я слишком уважала Степана Ильича, чтобы показать ему свое равнодушие в первые годы нашего брака. А там, за детьми — трое ведь у нас, да двое умерли! — я, право, до того свыклась со своим положением, что теперь даже и представить себе не могу, как бы я жила не в этом доме, не женою Степана Ильича, без Мити, Лиды и Лели...

— Неужели ни один мужчина не интересовал тебя за эти восемнадцать лет? — пытала Людмилу Александровну в интимной беседе Олимпиада Алексеевна Ратисова.

— После замужества? Ни один.

— Гм... Не очень-то я тебе верю. Сама за старым мужем жила: ученая... А Сердечный, Аркадий Николаевич? Его-то в каком качестве ты при себе консервируешь?

— Как тебе не стыдно, Липа? — вспыхивала Верховская. — Неужели если мужчина и женщина не любовники, то между ними уж и хороших отношений быть не может?

— Да я — ничего... Болтали про вас много в свое время... Ну, и предан он тебе, как пудель... Весь век прожил при семье вашей сбоку припекою, остался старым холостяком: Тургенев этаким при Полине Виардо... Собою почти красавец, а без романа живет... даже любовницы у него нет постоянной... я знаю... Спроста этак не бывает. До пятидесяти годов старым гимназистом вековать этакому человеку — легко ли? И под пару тебе: ты у нас образованная,

читалка, а он литератор, философ... целовались бы да спорили о том, что было, когда ничего не было...

— Аркадий Николаевич был мне верным другом и остался. Между нами даже разговора никогда не было — такого, как ты намекаешь, — романического.

— Вам же хуже: чего время теряли? Сердечный — и умница, и знаменитость... чего тебе еще надо? Ну да ваше дело: кто любит сухую клубнику, кто со сливками — зависит от вкуса... Итак, ни один?

— Ни один.

Ратисова разводила руками.

— Ну, тебе и книги в руки... А меня, грешную, кажется, только двое и не интересовали: покойный мой супруг — твой родитель...

— Очень приятно слышать дочери!

— Да уж приятно ли, нет ли, а не солгу. «Амикю Плято, сед мажи амикю верита!»

— Господи! Что это? на каком языке?

— По-латыни. Значит: «Платон мне друг, но истина друг еще больше». Петька Синев обучил. Тебе, что ли, одной образованностью блистать?

— Зачем же ты латинские-то слова по-французски произносишь!

— Словно не все равно? На все языки произношения не напасешься!.. Но с отцом твоим хоть и скучненько жить было, все же на человека походил, уважать его можно было. А уж мой нынешний дурак... отдала бы знакомому черту, да совестно: назад приведет!

— Липа, не болтай же вздора!

— Не могу, это выше сил моих. Как вышла из института, распустила язык, так и до старости дожила, а сдержать его не умею. А впрочем, в самом деле, что это я завела — все о мужьях да о мужьях? Веселенький сюжетец, нечего сказать! Только что для фамилии нужны, и общество требует, а то — самая бесполезная на земле порода. Землю топчут, небо копят, в винт играют, детей делают... тьфу! Еще и верности требуют, козлы рогатые... Как же! черта с два! Теперь в нашем кругу верных жен-то, пожалуй, на всю Москву ты одна осталась... в качестве запасной праведницы, на случай небесной ревизии, чтобы было кого показать Господу Богу в доказательство, что у нас еще не сплошь Содом. А знаешь, не думала я, что из тебя выйдет недотрога. В девках ты была огонь. Я ждала, что ты будешь — ой-ой-ой!

Три года тому назад, когда исполнилось пятнадцатилетие брака Людмилы Александровны и Степана Ильича, тетка и воспитательница ее, Елена Львовна Алимova — которой настоящим и сладилось когда-то это супружество, — говорила племяннице:

— Когда ты выходила замуж, я думала, что делаю тебе благодеяние, устроив тебя за Степана Ильича. Но потом... ты — молодая, он — старик... Признаюсь, я много раз упрекала себя, часто думала, что загубила твою жизнь, что не такого бы мужа надо тебе. А с другой стороны, ты всегда такая ровная, спокойная — как будто и довольна своим бытом... Признайся откровенно, по душе: не маска это? Действительно ты счастлива?

Людмила отвечала:

— Я спокойна, тетя.

Тетя подумала и сказала:

— Что же? И то не худо! в наше время это, пожалуй, почти то же, что счастлива. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Верь Пушкину, Людмила. Умный был поэт.

II

Зимний сезон 188* года был в разгаре. Верховские, пополам с Ратисовыми, имели абонемент в итальянской опере.

Олимпиада Алексеевна Ратисова принадлежала к числу тех страстных театралок, из хаоса которых развились впоследствии мазинистки, фигнеристки, тартаковистки и прочие за- и предкулисные «истки», объединенные ходячим остроумием в общем типе и общей кличке «психопаток». Впрочем, ухаживание ее за артистами было гораздо менее платонического характера, чем влюбленные экстазы большинства ее компаньенок по оперному и драматическому беснованию. Все еще эффектная наружность и задорная бойкость обращения выгодно выделяли Ратисову из этой полоумной толпы, и не один итальянский тенор, не один трагик уезжал на родину, по уши влюбленный в московскую «Venus rousse»[1], готовый для нее на тысячи глупостей, между тем как сама «Venus rousse», проводив минутного друга горькими слезами, осушала глаза, едва исчезал из виду уносивший его вагон, и, покорствуя своему необузданному темпераменту, спешила завести новый роман: «глядя по сезону» — дразнил ее Синев.

— Вам бы, тетушка, в Риме жить, при Нероне или Коммоде, — трунил он.

— А что? — добродушно недоумевала Олимпиада Алексеевна.

— Да так: натура у вас уж очень римская.

— Ври еще!

— Клянусь вам.

— Не обманешь, брат. Я ведь тоже скиталась за границую по музеям-то — нагляделась на этих римлянок: долгоносые какие-то, Бог с ними... и небось черномазые были, как сапог — а?

— Да я, тетушка, не о наружности: помилуйте! — «кто может сравниться с Матильдой моей?»! А настроение у вас подходящее... Там, видите ли, были дамы, которые считали своих мужей по консулам. Новое консульство — ну, и в отставку старого мужа, подавай нового... Хорошие были нравы! правда, тетушка?

— Дурак! — раздражалась Олимпиада Алексеевна, и оба хохотали.

— Ведь вы, тетушка, — уверял Синев в другой раз, — знаете в жизни только три ремесла: любить, мечтать о любви и писать любовные письма.

— Верно, — соглашалась Олимпиада Алексеевна. — Обожаю эту корреспонденцию. Всю жизнь писала и теперь пишу.

— Вот как! Кому же, тетушка?

— Мазини, Хохлову, Тартакову — всем, кто на горизонте...

— Это значит: «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я!» Бей сороку и ворону —

попадешь на ясного сокола. Логично, тетушка. И получаете ответы?

— Иностранцы отвечают: они, во-первых, вежливы, не чета русским неотёсам, а во-вторых, у них на этот предмет имеются специальные секретари.

— И все *poste restante* [2]... под псевдонимами?

— Разумеется.

— То-то, я думаю, вы почтаменту надоели!

— Вот еще! а на что же он и учрежден? Пусть работает! небось правительство деньги платит.

Когда «на горизонте» не виднелось никакого театрального светила, Олимпиада Алексеевна обращала свою интересную корреспонденцию и в другие области. Так, она тянула года полтора романическую переписку с одним молодым беллетристом.

— Ведь вот, — удивлялась она, доверяя свою тайну Людмиле Александровне, — в институте, помнишь, я училась плохо, слыла тупицею... сколько раз ходила без передника — именно за литературу эту глупую... А тут, знаешь, откуда что берется: просто сама себя не постигаю.

— Специальность особого рода!

— Должно быть. Оно и точно: я замечала, — так, вообще, в делах, в разговоре, я не очень; а когда дело дойдет до любви, становлюсь преумная. Куда же до меня этой Надсоновой... как бишь ее? — графине Лиде, что ли? Мой сочинитель изумлялся: откуда, пишет, у вас, баронесса Клара, — я баронессой Кларой подписываюсь, — берется такая тонкость в анализе страстей? Анализ страстей! Недурно сказано? А?

— Чего же лучше? Но как смотрит на твои подвиги муж?

— Очень мне нужно, как он смотрит. Состояние мое и воля моя.

Зачем Олимпиада Алексеевна, едва отбыв траур по первом старом муже, поторопилась выйти за Ратисова, тоже уже немолодого и скучнейшего в мире холостяка, притом не чувствуя к нему ни любви, ни уважения (да и нельзя было их чувствовать к этой смешной фигуре, самую природою предназначенной к роли Менелая), — она сама недоумевала.

— Бес попутал, — объясняла она. — Кто ж его знал, что он такой? С виду был как будто и порядочный человек, и мужчина, а на деле вышел размазня, тряпка, жеваная бумага, Мижув противный...

— Я так полагаю, тетушка: вы это из предосторожности, — смеялся Синев.

— То есть из какой же, Петя?

— Из предосторожности, чтобы не выйти замуж за кого-нибудь еще хуже.

— А что ты думаешь? Ведь, пожалуй, правда!

— Разумеется, правда. Темперамент ваш мне хорошо известен. Не будь у вас премудрого Иакова, вы давно бы обвенчались с каким-нибудь синьором Аморозо.

— Меня и то один баритон уговаривал развестись с Иаковым.

— Вот видите. И обобрал бы вас, тетушка, этот баритон до последней копейки, и колотил бы он вас четырнадцать раз в неделю... ух, как эти шарманщики колотить умеют! Кулачищи у них

— во какие! Народ музыкальный: бьют в такт, sforzando [3] и rinrorzando [4]. А Иаков — человек безобидный. Ему лишь бы винт был, английский клуб, да печатали бы юмористические журналы его стишонки и шарады, — а затем хоть трава не расти. Я думаю, тетушка, он уже позабыл, как дверь открывается на вашу половину...

— А зачем ему шляться, куда его не спрашивают?

— Да-с, тетушка! вы мало цените своего Иакова. В мужья он, конечно, не годится, но презерватив великолепный.

— Что это — презерватив?

— Маленькая штучка в револьвере. Захлопнул ее — и щелкай курком, сколько хочешь: выстрела не будет. Так и вы, тетушка: при Иакове влюбляться в своих шарманщиков и «романсовать» — как выражаются поляки — можете с ними сколько угодно, но выпалить замужеством — ни-ни! презерватив не позволяет.

Между Людмилою Александровною и Олимпиадою Алексеевною — при всем несходстве их характеров и образа жизни — существовала нежнейшая дружба, еще с институтских времен. Впрочем, в институте обожание Липы Станицевой было чуть не повальной болезнью. Чем тянула она к себе подруг, ни она сама, ни они не понимали; но когда Олимпиада Алексеевна и Людмила Александровна, вдвоем, вспоминали ученические годы, их разбирал невольный смех: столько глупостей делал класс во имя своего кумира...

— Помнишь, как Нина Чаагадзе вытравила на плече твой вензель?

— А Ольга Худая клялась, что, если я не буду ей «отвечать», выпьет целую бутылку уксусу и наживет чахотку...

— А Юлинька Крахт вставала по ночам молиться за твои грехи.

— И Леопольдина Васильевна оставила ее за это на целый месяц «без родных».

По окончании курса Липа Станицева, прямо из института, вошла в семью Милочки Рахмановой: сперва полугостью-полукомпаньонкой богатой подруги, а там — влюбила в себя самого Александра Григорьевича Рахманова, и семья оглянуться не успела, как в среде ее возликовал Исая и в доме появилась новая хозяйка. Перемена эта ничуть не испортила отношений между молоденькими мачехою и падчерицею: разница в возрасте между ними была всего на три года. Напротив, они даже как будто еще больше сдружились, — к великому неудовольствию старой хозяйки дома, Елены Львовны Алимовой, пожилой, упорно-девственной тетки Людмилы Александровны. Привыкнув со смерти своей сестры, первой жены Рахманова, полновластно править и его имуществом, и воспитанием Милочки, Алимова крайне неохотно уступила Олимпиаде Алексеевне свое место и влияние.

— Чем очаровала Александра Григорьевича эта женщина? — изумлялась Алимова, жалуясь на свою судьбу приятельницам. — Поэт, эстетик, гегелианец, с Грановским был дружен, Фауста переводил, о Винкельмане сочинил что-то, и вдруг — с великой-то эстетики — женился на вульгарнейшей буржуазке... Это после сестры Лидии — после красавицы, которой Глинка посвящал романсы, которой умирающий Гейне целовал руки... И хоть бы эта мешаночка была хороша собою! А то просто gonssore [5]. В любом уездном городе таких рыжих и толстощеких белянок — по четырнадцати на дюжину. Только они не щеголяют воровскими платьями и шляпками из Парижа, а ходят в платочках и кацавейках...

Маленькая черная кошка пробежала между приятельницами лишь в год свадьбы Людмилы Александровны. Брак ее с Верховским был неожиданностью для общества. Москва единогласно прочила молодую девушку за некоего Андрея Яковлевича Ревизанова,

изящнейшего молодого человека, весьма небогатого, но с вероятною большою карьерою. Ревизанов бывал у Рахмановых чуть не каждый день, показывался с ними в театре и на балах, как свой человек... Потом вдруг точно отрезало. Ревизанов уехал из Москвы на Урал управлять делами одной золотопромышленницы, и слух о нем пропал, а Людмила Александровна, даже с какою-то необычайною быстротой, вышла замуж за ближайшего друга своего отца — Степана Ильича Верховского. Молва обвиняла в разрыве молодых людей Олимпиаду Алексеевну, предполагая, что Ревизанов, имевший в Москве довольно определенную репутацию Дон-Жуана, обращал на свою будущую тещу больше внимания, чем могло понравиться Людмиле Александровне... Так или иначе, но года два молодые дамы оставались в натянутых отношениях. И только когда у Людмилы Александровны родилась дочь Лидия — второй ее ребенок, — Олимпиада Алексеевна внезапно приехала к бывшей подруге за примирением и назвалась в крестные матери. Произошло очень трогательное свидание и объяснение. Обе женщины много плакали, и дружба восстановилась. В обществе замечали только, что роли приятельниц в их дружеском союзе переменились: до ссоры главенствовала Олимпиада Алексеевна, а Людмила Александровна шла за нею «в хвосте»; после же ссоры перевес влияния и авторитета весьма чувствительно оказался за Людмилою Александровною... Олимпиада Алексеевна стала даже как будто побаиваться подруги.

III

В третье представление абонементов Верховских и Ратисовых давали «Риголетто». Пели Зембрих и Мазини. Театр был полон. В антракте Синев — он сидел в партере — зашел в ложу родных.

— Здравствуйте, тетушка, здравствуйте, кузина... Ну-с, что вы мне дадите, если я сейчас покажу вам самого интересного человека в Москве?

— Мы его и без тебя видим, — возразила Олимпиада Алексеевна.

— Кто же это, по-вашему?

— Разумеется, кто: он! божественный Мазини!.. Как поет-то сегодня! А? Не человек, а музыка! соловей, порхающий с ветки на ветку!

— Поет хорошо, — тем не менее, тетушка, вы ошибаетесь. Если вам будет угодно взять в руки бинокль и посмотреть в первый ряд — вон туда глядите: третье кресло от прохода, — вы увидите человека, пред которым ваш Мазини — мальчишка и щенок... не по голосу, но в смысле романической интересности, разумеется.

Дамы вооружились биноклями.

— Блондин?

— Да... длинная борода с проседью... смокинг... Да вы его сразу заметите: он выдается из целого ряда, — недюжинная фигура!..

— Гм... действительно хорош... и — знаешь, Милочка, — лицо как будто знакомое... не припомню, где я его видала?

Людмила Александровна не ответила. Стянутая черною перчаткою рука ее, с биноклем, крепко прижатом к глазам, заслоняла ее лицо: иначе Синев и Ратисова заметили бы, что Верховская сильно побледнела.

— Матушки! — вскрикнула Олимпиада Алексеевна так, что на нее оглянулись из соседней ложи, — Милочка... да ведь это он! неужели ты не узнаешь? это он!

— Кто? — глухо отозвалась Людмила Александровна, продолжая смотреть в бинокль.

— Ревизанов — вот кто!

— Совершенно верно, тетушка: он самый, — подтвердил удивленный Синев, — но откуда вы его знаете?

Олимпиада Алексеевна расхохоталась:

— Вот вопрос! кому же и знать Ревизанова, как не нам с Людмилою? Правда, Милочка?

Она хитро прищурилась.

— Он старый наш знакомый, Петр Дмитриевич, — тихо сказала Людмила Александровна, опуская бинокль, — мой отец вывел его в люди.

Синев покачал головою:

— Не думаю, чтобы благодарная Россия поставила вашему батюшке монумент за эту услугу.

— Да, — вмешалась Олимпиада Алексеевна, — и я слыхала что-то... говорят, из него вышел ужасный мерзавец.

— Это как взглянуть, тетушка. Ежели судить по человечеству, хорошего в господине Ревизанове действительно мало. А если стать на общественную точку зрения — душа человек и преполнейший деятель: такой, скажу вам, культуртрегер, что ой-ой-ой! Мне, когда я был прикомандирован к сенатору Лисицыну в его сибирской ревизии, рассказывали туземцы про подвиги этого барина: просто Фернандо Кортес какой-то. Где ступила нога Ревизанова — дикарю капут: цивилизация и кабак, кабак и цивилизация... Кто не обрусееет, тот сопьется и вымрет; кто не вымрет, сопьется, но обрусееет...

— Ты с чего же злишься-то? — насмешливо прервала Синева Олимпиада Алексеевна.

— Бог с вами, тетушка! не злюсь, а славословлю... Притом же Ревизанов этот, в некотором роде, Алкивиад новейшей формации: к публичности у него прямо болезненная страсть. Помилуйте! Давно ли он прибыл в Москву? А она уже полна шумом его побед и одолений. Кто скупил чуть ли не все акции Черепановской железной дороги? Ревизанов. Кто съел ученую свинью из цирка? Ревизанов. Кто пожертвовал пятьдесят тысяч рублей на голодающих черногорцев? Ревизанов. Чей рысак взял первый приз на бегах? Ревизанова. Чей миллионный процесс выиграл Плевако? Ревизановский. У кого на содержании наездница L?opie — самая шикарная в Москве кокотка? У Ревизанова. Он теперь всюду. Просто уши болят от вечного склонения со всех сторон: Ревизанов, Ревизанова, Ревизанову... Хорошо еще, что он не имеет множественного числа!.. Да, позвольте! вот вам вещественное доказательство его величия.

Синев вынул из кармана номер юмористического журнала.

— Видите? Он сам. Большая голова на маленьких ножках, как водится, но, заметьте, лицо вырисовано не по-карикатурному: не дерзнули наши Ювеналы... а лесты-то, лесты-то в подписи!..

— Чем он, собственно, занимается? — спросила Людмила Александровна.

— Это, кузина, опять — как взглянуть. Для всех он — капиталист, миллионер, стоящий во

главе дюжины самых разнообразных предприятий; а для меня, в качестве скромного представителя прокурорского надзора, он пока состоит в звании интересного незнакомца, с которым очень хотелось бы познакомиться.

— А я было думала, — разочарованно сказала Олимпиада Алексеевна, — что ты с ним приятель...

— Нет, до приятельства далеко, а так встречаемся, шутим, раза два-три ужинали вместе... Он даже как будто благоволит ко мне. По крайней мере, всегда любезнее, чем с другими.

— А мне слышалось, будто ты сейчас сказал, что не знаком?

— Вы не поняли, тетушка: знаком, да не так, как мне надо...

— Ну, мне все равно как, — это твое дело. Но — раз знаком хоть как-нибудь — изволь его нам представить.

Людмила Александровна взглянула на Ратисову с изумлением и испугом.

— Что ты? — возразила на этот взгляд Олимпиада Александровна. — Да отчего же нет?

Верховская пожала плечами и ничего не сказала.

— Ты — как хочешь, — продолжала Ратисова, — а я непременно возобновлю знакомство. Ишь Петя рассказывает, какой он стал интересный человек...

— Прямо герой романа, тетушка.

— Во вкусе Зола? Мопассана?

— Нет. Скорее в роде «Графа Монте-Кристо», а пожалуй, и «Рауля Синей Бороды» — только не того, тетушка, которого, к утешению вашему, изображает у Лентовского Саша Давыдов, а гораздо серьезнее...

— Ух, страсти какие!

— Да-с! с ядом, мертвыми телами и прочими судебно-медицинскими атрибутами.

Олимпиада Алексеевна перекрестилась под веером.

— Ты меня не пугай! — серьезно сказала она. — Я твоей судебной медицины недолюбливаю...

— Вы, конечно, шутите? — спросила Верховская.

Синев пожал плечами:

— И да, и нет. Я хотел бы рассказать вам биографию Ревизанова, но у него нет биографии. Есть легенда. Но московские легенды всегда слишком близко граничат со сплетнею. Факты вот: Ревизанов был дважды женат на богатейших купчихах и, счастливо вдовев, получил в оба раза миллионные наследства. Вторая жена его — золотопромышленница Лабуш — умерла при подозрительных обстоятельствах, так что произведено было следствие. Однако Ревизанов вышел из воды не только сух, но даже с блеском — как бы заново полированный и лакированный... Сейчас он владелец богатейших золотых россыпей в Нерчинском и Алтайском округах. Он строил Северскую дорогу. Он директор-распорядитель, то есть, в сущности, бесконтрольный повелитель Северо-восточного банка. На Волге, Каме, Вятке у него свои пароходства. Вот и все. Затем — истории конец, и начинается легенда, то есть слухи недовольства и сплетни зависти. Прикажете сплетничать?..

— Нет уж, в другой раз, — перебила Ратисова. — Бевиньяни вышел в оркестр... Сейчас поднимут занавес. Не обидься, пожалуйста, но — «Ja donna ? mobile» — когда поет Мазини — все-таки интереснее твоих рассказов...

Синев отклонялся и ушел. Женщины обменялись многозначительным взглядом.

— Вот — что называется — сюрприз! — сказала Ратисова.

Людмила Александровна молчала.

— Мне не нравится, что ты взволновалась, — продолжала Олимпиада Алексеевна. — Неужели из тебя еще не выветрилась наша старина? Ведь восемнадцать лет, Людмила! Воды-то, воды что утекло!.. Верить ли: что касается до меня, — я точно все то время во сне видела. И вот тебе крест: ведь предо мною он больше виноват, чем пред тобою... А между тем смотрю я на него и — ничего: нет во мне ни злобы, ни обиды... Все равно — как будто никогда и не знавала его: чужой человек... А на тебе лица нет. Неужели ты до сих пор помнишь и не простила?

Людмила Александровна сосредоточенно посмотрела в партер.

— Не то! — задумчиво возразила она. — А просто неожиданность. Я никогда не вспоминала этой проклятой старины и думала, что уже и вспоминать ее не придется... И вот, когда я совсем о ней позабыла, она тут как тут, нечаянная, нежданная... ужасно неприятно! Ты знаешь, я немножко верю предчувствиям: встреча эта не к добру.

— Вот глупости!.. Знаешь, Милочка, — начала Ратисова после продолжительного молчания, — я сегодня в первый раз перестала раскаиваться, что из-за меня когда-то расстроилась твоя свадьба с Ревизановым... Если хоть десятая доля того, что рассказывал Петька, правда, — хорош он гусь, нечего сказать... Да и тогда-то, в нашей-то суматохе, красиво вел себя мальчик, нечего сказать: хоть удавить, и то, пожалуй, не жалко. Хотя ты и злилась на меня в то время, зачем я стала между вами, а по-настоящему-то рассуждая, ты должна меня записать за то в поминание — о здравии рабы Божией Олимпиады. Не вскружи я тогда Андрею Яковлевичу голову, быть бы тебе за ним.

— Ах, да перестань же наконец, Липа! — почти прикрикнула Людмила Александровна. — Неужели так весело вспоминать, что когда-то мы были глупы и не имели никакого уважения к самим себе?

— Ну, ну, не злись: я ведь так только — для разговора...

Но, обводя биноклем публику, сбиравшуюся в партер после антракта, Олимпиада Алексеевна не утерпела и снова направила стекла на Ревизанова.

— А надо отдать ему справедливость, — вздохнула она, — до сих пор молодец... Даже как будто стал красивее, чем в молодости... А манеры-то, манеры!.. Всегда был джентльмен, но теперь — просто принц Уэльский!

В устах Олимпиады Алексеевны это была высшая похвала мужчине. Как-то раз, не то в Биаррице, не то в Монте-Карло, ей удалось быть представленною «первому джентльмену Европы», и принц навсегда покорила ее воображение до обожания — почти суеверного...

Дверь ложи скрипнула; вошли, возвращаясь из «курилки», мужья обеих дам.

— Представь, Милочка, кого я сейчас встретил, — радостно заговорил Степан Ильич, подсаживаясь к жене, — Ревизанова, Андрея Яковлевича... Вот уж сто лет, сто зим!.. Хоть он теперь и туз из тузов — рукою его не достанешь! — а все такой же милый, как был. Очень сожалел, что мы встретились лишь в последнем антракте и он уже не может зайти к нам в

ложу поздороваться с тобою и с вами, Олимпиада Алексеевна... Я зазвал его к нам обедать — в воскресенье... Обещал непременно.

На лице Людмилы Александровны легла тень сильного неудовольствия.

Олимпиада Алексеевна, комически вздохнув, прошептала:

— Fatalit?! [6]

Запел Мазини.

IV

Ратисовы довели Людмилу Александровну из театра домой в своей карете. Степану Ильичу надо было заехать в Купеческий клуб, где его ждал какой-то одесский коммерсант с партией пикета и деловым разговором между партией. Сменив вечерний туалет на блузу, Верховская прошла по дому хозяйским дозором. Дети уже спали. Людмила Александровна заглянула к ним в комнаты и перекрестила их, сонных, в постели. В столовой был накрытый холодный ужин, но Людмила Александровна приказала снимать со стола: она не хотела есть.

Она была очень не в духе. На гладком лбу ее, над тонкими бровями, легли две беспокойные морщины; омраченные глаза смотрели гневно и тревожно. Дом затих. До возвращения Степана Ильича из клуба было еще далеко. Людмила Александровна прошла в свой будуар и, присев к письменному столу, долго рылась в его ящиках, пока не нашла, чего искала: толстую тетрадь в тисненом красном сафьяне. Тетрадь была исписана мелким бисерным почерком. Чернила уже поблекли, бумага тоже пожелтела местами. Людмила Александровна углубилась в рукопись... Вот что она читала. * * *

В 186* году мой отец, богатый калужский помещик, Александр Григорьевич Рахманов, вступил во второй брак с моею институтскою подругой, Олимпиадой Алексеевной Станицевой, и, по настоянию молодой жены, переехал на житье из деревни в Москву. То было самое счастливое и веселое время моей жизни; мне только что исполнилось семнадцать лет: два года тому назад я оставила институт, не кончив в нем курса, и теперь была свободна и беззаботна, как птица.

Сначала, в деревне, отец и Елена Львовна Алимova, сестра моей покойной матери, принялись было довершать мое воспитание; но я была слаба здоровьем и, пред тем как оставить институт, перенесла тяжкую нервную болезнь, после которой медленно и трудно поправлялась, так что мои воспитатели остерегались слишком утруждать меня умственной работой. Потом, когда ради моего развлечения тетя Елена выписала гостить к нам Липу Станицеву, Липа скоро влюбила в себя папа, и он, занятый сердечными делами, первый стал небрежничать своими наставническими обязанностями. После началась предсвадебная суэта; Липа была бедная, и все ее приданое было сделано в нашем доме, на счет папа. Тетя Елена вела занятия со мною, пока не заметила, что передала мне все, что знала сама. Да и ей стало не до меня. Очень не по сердцу пришелся ей поздний роман моего отца. Аристократка в слове, мысли и деле, строго нравственная, немного даже grude [7], искренно и сознательно религиозная, Елена Львовна являлась резкою противоположностью Липе — с ее умом, ленивым и взбалмошным, с ее сердцем, расположенным легко привыкать к людям, но еще легче отвыкать, любя их лишь до первой размолвки; охотно принимающим жертвы, но неспособным на них; напоказ — чувствительным, на деле — распущенно-себялюбивым, избалованным, эгоистическим. Липа была образована слабо, по-институтски, да забыла и то, что знала, через месяц после выпуска. В институте она была общею любимицею, слыла

примерною скромницею, но едва вырвалась на свободу, как набралась какой-то цыганской удали, обзавелась развязною речью, смелыми взглядами, довольно вульгарными манерами, бывала весьма довольна, если при ней говорили двусмысленности, которых я еще не понимала, а тетя не выносила. В обществе всегда находили меня и красивее, и умнее Липы, да я и моложе ее на три года; однако мужчины интересовались ею гораздо более, чем мною. Между тем со своими золотыми волосами, бело-розовой кожей и пухлым русским лицом, она была разве лишь недурна собою. Правда, она сложена, как статуя, и даже самый уродливый из покровов того времени — когда во главе моды стояла французская императрица Евгения, покровительница пресловутого кринолина — не мог скрыть роскошь ее тела. В каждом жесте Липы, всегда ленивом, медлительном, но сильном, было что-то дразнящее, сказывалась тайная чувственность, разлитая в ее молодой крови.

Тетя Елена инстинктивно невзлюбила Липу, когда та, по ее же зову, приехала ко мне в гости, и вступила с нею в упорную борьбу, когда Липа стала членом нашей семьи. И чем дальше шла эта мелочная борьба в косвенных нападках, едва понятных намеках, шпильках, преднамеренных обмолвках и «нечаянностях», тем непримиримее разгоралась вражда обеих женщин. Опираясь на защиту безоглядно влюбленного мужа, Липа, конечно, была сильнее тети и — странно — гораздо находчивее, искуснее и хитрее ее, — такой умной и развитой, — на то, чтобы сделать своей неприятельнице маленькую гадость, поставить ее в неловкое и смешное положение. Липа выжила бы тетю из дому, но весь порядок нашего житья-бытья, дававший комфорт каждому из членов семьи, был делом рук Елены Львовны: удалить ее — значило бы выдернуть главную пружину из хорошо заведенной и правильно идущей хозяйственной машины; для того же, чтобы заменить тетю, Липа была слишком ленива, а я — чересчур молода, да сверх того, всякое посягательство на права тети являлось в моих глазах чуть не святотатством. Однако должна сознаться: как ни ясно понимала я, что огорчаю тетю, которую всегда любила и уважала — как друга и наставницу, заменившую мне, ранней сироте, родную мать, — но молодость сильнее тянула меня к Липе; а чем теснее сближалась я с нею, тем дальше становилась от тети.

В Москве мы зажили открыто, на широкую ногу. У нас бывало много молодых людей. В одного из них, Андрея Яковлевича Ревизанова, я влюбилась, как только может влюбиться семнадцатилетняя девочка, ничего не выдавшая, кроме деревни да институтских стен. Ревизанов обладал всеми данными, чтобы нравиться женщинам: был хорош собою, умен и ловок в обращении. Я стала его любовницею. Как это случилось, я и теперь не отдаю себе отчета. Было безумие, туман какой-то... Минута наглости с его стороны, минута страстного забвения с моей, полуобморочные объятия... После этой беды я очутилась совсем во власти Ревизанова; он повелевал мною, как рабынею; собака не может быть преданною своему господину вернее и беззаветнее, чем я была предана ему. Я не размышляла о том, что делаю, да и могла ли размышлять, влюбленная до безумия, занятая мечтами только о нем одном, моем герое, полубоге? — тем более когда не нынче-завтра Ревизанов должен был сделать мне официальное предложение и стать моим мужем? Я твердо верила в его обещания. Он и в самом деле не думал обмануть меня: брак со мною — дочерью богатого и уважаемого человека с большими связями — был для него, в то время почти нищего, золотым кладом. Случай открыл мне глаза и перевернул всю мою судьбу.

У меня была горничная Раиса — замечательно хорошенькая и почти еще девочка. Все мы в доме очень любили ее — я в особенности. Верила я ей, как самой себе. Раиса не знала, как далеко зашли мои отношения с Ревизановым, но знала, что я люблю его, что он ухаживает за мною и собирается на мне жениться. Случалось — довольно часто, — что она носила Ревизанову мои письма. С некоторого времени Раиса переменилась ко мне: стала мрачна, избегала смотреть мне в лицо; я часто замечала ее с наплаканными докрасна глазами... И вот однажды она бросилась мне в ноги и со слезами покаялась, что Андрей Яковлевич соблазнил ее, обещая взять к себе в дом, когда женится на барышне, т. е. на мне, и любить больше, чем жену; что все это говорит она, жалея меня, потому что «Андрей Яковлевич

самый подлый человек на свете и мне не следует выходить за него замуж: у него только интерес на уме, а чувств ни к кому нету».

— Ты лжешь!

— Вот же ей-Богу, барышня! хоть икону снять! Горькая я, несчастная! — заголосила девушка, но взглянула на меня и умолкла. Должно быть, я страшно изменилась, потому что на лице Раисы отразился безумный испуг; она быстро поднялась на ноги и попятилась к дверям.

Оставшись одна, я была как в столбняке.

«Что же теперь делать?» — безостановочно кружилась мысль в моей голове, но мозг отказывался работать над нею, отвечая бессмысленною фразою: «Какое глупое положение!» Я хотела заплакать — не вышло; хотела засмеяться горьким смехом — горло не издавало звука; а в голове стучало, стучало: «Что же теперь делать? какое глупое положение!» И больно было мне от монотонного, как чиканье маятника, и ничего не разрешающего стука... Кое-как, наружно, я овладела собою и позвала Раису. Она пришла, заплаканная, трепещущая и хорошенькая больше чем когда-нибудь. Я видела ее красоту и — странно! — не чувствовала к ней ни малейшей ревности...

— Рассказывай мне все!

Всхлипывая и взвизгивая, она передала мне свою печальную историю. Слушая Раису, я краснела и бледнела — опять-таки не от ревности к своей счастливой сопернице, но от оскорбленной гордости, от стыда за сходство нашего позора: ее история была моею историей — историей слабовольной девчонки, ошалевшей в объятиях опытного, дерзкого, грубого Дон-Жуана.

— Зачем ты призналась мне? — прервала я Раису. — Ведь ты знаешь, какая я доверчивая; не скажи ты сама — я бы ничего не подозревала... Что тебя толкнуло?

Девушка хмуро смотрела в сторону:

— Да говорю же: жаль вас, барышня, стало...

— Только это?..

Раиса молчала. Потом махнула рукою и сверкнула глазами:

— Да что мне их миловать-то! Извольте, барышня, вот вам вся правда. Со злобы большой призналась. Потому что Андрей Яковлевич не одну вас — и меня тоже провел. Он теперь с молодою барынею связался.

— С какою молодою барынею?

— С нашею, с Олимпиадою Алексеевною.

Свет исчез из моих глаз... Моя мачеха, мой лучший друг, моя Липа!.. А Раиса шептала мне:

— Вот и сейчас она к нему поехала... Сказалась, будто в ряды; а я знаю, какие это ряды! Каждый день так-то видятся где-нибудь да потешаются над нами, дурами...

— Вон! — прохрипела я.

И опять — этот прежний тяжелый столбняк. Потом... я хорошо помню себя лишь с тех пор, как швейцар Василий распахнул предо мною двери подъезда и я очутилась на улице. Воздух освежил меня. Самосознание понемногу возвращалось. Как видно, женский инстинкт красоты

работает, если даже все чувства поражены. В зеркальных окнах магазинов я видела себя, одетую тщательно, как всегда. Прохожие провожали меня, как хорошенькую нарядную барышню, обычными взглядами одобрения, не замечая во мне, по-видимому, никакой странности. Я улыбалась глазами, хотя чувствовала в горле приступы истерического удушья. Только мыслей по-прежнему не было в тяжелой, как свинцом налитой, голове, и явственно звенело в ушах моих нахальное щебетанье: «Какое глупое положение... какое глупое положение!»

— Апельсины хороши! — крикнул возле меня разносчик.

Этот крик был первым внешним звуком, проникшим в летаргию моей мысли. До того я только видела улицу, но не слышала ее. Я вздрогнула и остановилась.

— Купили бы, барышня!

Не знаю, как в руках моих очутился сверток с пятью апельсинами. Я очистила один, не снимая перчаток, и на ходу начала жевать его, пластинку за пластинкой. Какая-то элегантная дама с удивлением оглядела меня; ее презрительная улыбка напомнила мне, что кто-нибудь из нашего общества может встретить меня с этими неприличными апельсинами, и мне стало стыдно и досадно. Я бросила их на мостовую.

— Извозчик! на Третью Мещанскую! — приказывал чей-то бас.

«Третья Мещанская! это где-то далеко!» — подумала я и тут вспомнила, что иду очень давно и должна была пройти большое расстояние. Я огляделась: мое бессознательное странствие завело меня с Пречистенки к Триумфальным воротам. Куда же теперь? И — я не успела еще ответить себе — как уже опять шла скорыми шагами, считая зачем-то плиты тротуара. Так я пришла к Ревизанову. Он жил на Бронной, занимая две небольшие комнаты в тихих студенческих номерах. Дверь оказалась незапертой. Я вошла, встреченная криком испуга. Женщина в белой юбке, без корсета, спрыгнула с колен Ревизанова и повернулась ко мне спиной. Золотые волосы волною рассыпались до поясницы. Раиса не солгала: я узнала Липу! Ревизанов встал с места, бледный до синевы. Он ломал руки; я слышала, как хрустели его пальцы. Мы все трое молчали. Мне стало как-то легко, словно пусто, в груди. Точно позор Липы снял с меня тягость моего собственного позора. Мне даже любопытно было слышать, что скажет Ревизанов, как выпутается он из безобразного положения. Но этот самоуверенный, ловкий человек потерялся до жалости и то бледнел, то краснел пятнами да хрустел пальцами. Тогда дикий смех начал подниматься и kloкотать в моей груди. Я засмеялась тихо, но явственно... потом мне захотелось плакать, и я вышла из номера.

Мне было очень дурно, но я уже совсем овладела собой и, чувствуя приближение истерики, понимала необходимость скрыть ее от своих домашних. Я взяла извозчика и приказала везти себя в Петровскую академию. Я сдерживалась, как могла, а все-таки возница не раз оглядывался на меня с большим беспокойством, когда нервный смех или рыдание, вопреки моим усилиям, вырывались из крепко стиснутых губ. В академии я прошла в глухую, безлюдную часть парка, что за прудом, и легла там на землю, в густой купе бузины и сирени. День был чудесный — тихий и ясный; парк благоухал цветами, звенел птичьими песнями, а я плакала, плакала, плакала, уткнув лицо в молодую траву и царапая ногтями ладони в сжатых кулаках.

Я вернулась домой с тем спокойствием отчаяния, которое овладевает людьми после непоправимых потерь, когда уже истощены все громкие порывы горя. Дома я казалась спокойною, как всегда, а у меня была смерть в сердце. Мне было жаль не любви Ревизанова: я изнемогала от острой, почти физической боли презрения к нему и сознания, что я поругала сама себя, бросила свое сердце в помойную яму!

Липа уже несколько раз спрашивала обо мне и, едва я, после обеда, вошла в свою комнату —

явилась для объяснений. Она успела вернуть себе обычную самоуверенность и напала на меня с упреками: она никак не ожидала, чтобы я была настолько низка — подсматривать за нею; мне, конечно, досадно предпочтение, оказанное ей Андреем Яковлевичем, но ревновать до решимости шпионить за молодым человеком, даже на его собственной квартире, гадко и безнравственно; без сомнения, я постараюсь отомстить, все расскажу папе; но это ничего не значит: Александр Григорьевич слишком ее любит, не поверит ни одному слову, и мне же достанется; к тому же у меня нет никаких доказательств. Я догадалась, что, опасаясь взбалмошного нрава Липы, Ревизанов не открыл ей ни раньше, ни теперь настоящей близости наших отношений, и подумала: «Хоть за это спасибо!» Я ничего не отвечала Липе. Она, поняв мое молчание в том смысле, будто уговорила меня и склонила на свою сторону, бросилась целовать меня и осыпать ласками. Мне были неприятны ее нежности, но я сознавала себя преступною больше Липы и не смела брезгать ею.

— Ревизанов делал тебе предложение? — шептала Липа.

— Делал.

— Что же, ты выйдешь за него?

Глупость ее вопроса болезненно отдалась в моем обиженном сердце. Я не могла удержаться от резкой фразы:

— Нет, Липа! зачем? Предоставляю тебе делить твоего любовника с Раисой.

Липа широко открыла глаза:

— Что такое? при чем тут Раиса?

Я передала Липе, как Раиса, признанием в своем несчастье, побудила меня идти к Ревизанову за отчетом в его отношениях ко мне. Жестокое побуждение — заставить и Липу почувствовать все, что я выжила в этот тяжелый день, — вызвало на мои уста короткий и тем более резкий и беспощадный рассказ. Она привыкла верить мне и теперь ни на минуту не усомнилась в справедливости моих слов; колыхаясь от рыданий, она шептала:

— Ах, подлец! подлец! С горничной!

При виде слез мое озлобление стихло. Я напоила Липу водою, и мало-помалу она утешилась и даже принялась обдумывать планы, как бы отомстить Ревизанову. Все, что она говорила, было нелепо, но, занятая своими скорбными мыслями, я не возражала.

— А я-то, дура, любила его! — словно сквозь сон слышала я, — помнишь, Милочка, ты спрашивала меня: отчего я не ношу своих бриллиантов? — я еще покраснела тогда... Ревизанову в то время надо было заказывать платье, а денег у него не случилось... Он спросил у меня. Я взяла и заложила свои бриллианты, а Александру Григорьевичу сказала, что отдала переделать оправу. Я Ревизанова и после много раз вырочала.

Только этого не доставало в моем позоре! Быть любовницей негодяя, бравшего от другой женщины деньги, и считать его героем чести, идеалом мужской доблести... И этот человек был царем моего воображения, и этот человек полновластно распоряжался моим телом!

Липа собралась уходить от меня, но на пороге остановилась и, с некоторым колебанием, видимо, смутившись, произнесла:

— Милочка! я хочу предложить тебе один вопрос... глупый, лишний, конечно, а все-таки... Я знаю: ты такая нравственная, чистая, но... ты вот была сегодня у Ревизанова... Раньше — извини пожалуйста! — ты не бывала у него?

У меня потемнело в глазах, но хватило силы не выдать себя и выдержать пылливый взор Липы...

— Нет!

Липа оставила меня, совсем успокоенная и даже веселая.

V

Вечером у нас были гости; я сказалась нездоровою и не вышла к ним. Поздно, часов в одиннадцать ночи, в мою комнату вошла тетя Елена Львовна.

— Можно посидеть у тебя немного? Корицкие уже уехали, Александр Григорьевич заперся в кабинете, пишет что-то, Липа легла спать, а мне не спится. Да и тебе, кажется, тоже? Я не помешаю тебе? Кстати, мне надо спросить тебя кое о чем...

Она присела на кровать, у моих ног.

— Скажи, пожалуйста: какие секреты завелись у тебя с Раисой? Я знаю — ты никогда прежде не допускала интимностей со своими фрейлинами, а тут вдруг запираешься с горничной на ключ, шепчешься, после разговора — ходишь сама не своя, пропадаешь на полдня неизвестно где, сказываешься больною!..

Я много любила тетю, и она меня много любила; обе мы сознавали теплоту этой любви и дорожили взаимным чувством. Что тетя осудит и будет презирать меня, мне было страшнее, чем если бы все близкие прокляли меня и навсегда отреклись от моего общества. Но еще страшнее было остаться вдвоем со своею уродливою тайною — в самоистязующем одиночестве, полным гневной обиды, оскорбительных воспоминаний, презрения к себе, ненависти ко всем им — отравителям моей молодой души... И я выдала себя тете. Пока я говорила, тетя стала совсем белая, а глаза ее, полные внезапно налетевшего ужаса, словно потеряли свой цвет и безумно смотрели на меня расширенными зрачками. Я кончила. Елена Львовна осторожными шагами подошла к двери, выглянула в коридор, послушала в темноте: мы были совсем одни. Тетя заперла дверь на ключ, задернула тяжелую портьеру и, прислонившись спиною к стене, простерла ко мне дрожащие руки. Не стон, не плач, не крик вырвался тогда из ее груди — то был странный вздох, всхлипывание бесслезного рыдания. Мне стало страшно. Я вскочила с кровати:

— Тетя! золотая моя, милая!

Я упала возле нее на колени и, в порыве жалости и любви, целовала ее руки и платье. Тетя почувствовала меня близ себя, склонилась ко мне и схватила мою голову в тесное объятие. Слезы ее полились горячим дождем на мою голову. Наконец она сделала попытку успокоиться, выпустила меня из своих рук, налила себе из графина воды, но расплескала половину стакана, прежде чем донесла до рта; она пила, а зубы ее стучали о стекло.

— Боже мой, Боже мой! — шептала она и вдруг, заметив, что я, босая и полуобнаженная, стою на холодном паркете, приказала голосом, уже старавшимся принять обычную строгую интонацию: — Ты простудишься. Поди ляг.

Машинально, по привычке слушаться, я повиновалась ей. Тетя быстрыми шагами ходила по комнате.

— Погибла, поругана! — слышала я ее отрывистые фразы, — ох, я слепая, старая девка!

Куда же я-то, я смотрела?! Я одна виновата! Что мог понимать этот бедный ребенок в своем падении? Я одна преступна, с моим эгоизмом, с моим равнодушием. Девочка моя, жизнь моя! простишь ли ты меня? Я должна была уберечь тебя, а не уберегла! Я отстранилась от тебя, потому что ты стала другом той... гадине! Мне казалось, ты любила ее больше, чем меня... А ее я ненавидела всей душой, ненавидела с той самой минуты, как решен был ее проклятый брак... Она сделалась госпожою в семье; я заключилась в своем углу. Меня забыли, меня не хотели знать. А я чувствовала, что она фальшивая. Больно было мне уступать ей. И я оскорбилась, сама не захотела никого знать, ушла в самое себя. И вот плоды! О, Господи! За что же послал Ты на меня ослепление? За что покарал Ты меня не на мне самой, а в этой несчастной... неразумной... Ах, голубка моя, голубка!

Елена Львовна села у кровати. Мы долго молчали.

— Что же теперь делать? — произнесла она.

— Папе ни слова... ради Бога! мне страшно... стыдно!

— Да, да! конечно! Зачем говорить ему? Только одним несчастным будет больше!.. Скрыть надо, от всех скрыть!.. Но как же? Что же делать?

И мы опять умолкли в мрачном недоумении.

«Умереть хорошо бы!» — прошла мысль в моей голове, и тетя едва ли не подумала того же: взгляд ее был угрюм и решителен. Но вот она встрепенулась, словно стряхнула с себя бремя назойливой думы, и прошептала быстро и отрывисто:

— Нет... нет... ни за что!

— Тетя! — воскликнула я, схватив ее руки, — тетя! помогите мне!.. Советуйте, приказывайте! распорядитесь мною, как вещью, только помогите, осветите мою душу! Мрак царит в моем сердце: все, что было там живого, взял и убил злой человек. Ожесточение только осталось. Ведь я вас любила, папу любила, весь мир, от звездочки до самой мелкой пылинки любила. А теперь мне стало все равно: и никто мне не дорог, и я сама себе не дорога. И про кого я сейчас думаю, что люблю их, тех люблю не душой, как вчера, как всегда, а словно по обязанности, по привычке. Ушла от меня любовь, и вера ушла с нею... Пусто, холодно, темно вокруг меня! Дайте мне света, тетя!

— Света!.. Дитя! где же взять мне этого света? Много во мне любви к тебе, девочка; чуть не задушила она меня, когда поднялась навстречу твоему горю. Но, бедная, любовь моя сумеет только горевать с тобою; утешать она — боюсь — не может... Свет! Люди говорили в старину, будто свет — в покаянии, в искуплении вины.

— Как же, чем я искуплю ее? Я на все готова.

— Не знаю как, Милочка... Нет на это правил. Разным людям — разное и покаяние. Жди! — авось жизнь подскажет.

— А если нет, тетя?

— Тогда молись, Людмила, чтобы Бог дал тебе дожидаться хоть забвения.

— Забвения не будет, тетя!

— Оно должно быть и будет. Жизнь все сглаживает. Теперь ты рада пойти босиком в Иерусалим, лишь бы заглушить свои нравственные страдания; через десять лет грех будет казаться тебе тяжелым сном. Ты выйдешь замуж...

— Я?! Никогда, тетя!

— Как же ты собираешься жить?

— Я не знаю, тетя. Но вы прожили же без замужества.

— Ах, Людмила! Нашла пример!

— Вы дали воспитание мне, я тоже посвящу себя детям... да, детям Липы! Она не занимается своим мальчиком, да и никогда не будет заниматься. Где ей!

— Молчи, дорогая! ты не знаешь, что говоришь! — остановила меня тетя. Она опять была в крайнем волнении, и я не могла понять, чем дала ей повод к новому взрыву отчаяния. — Идти по моим следам! — посвятить себя воспитанию детей той женщины, которая отняла у тебя любимого человека! Остаться старою девою! Дитя мое, да понимаешь ли ты, что это за страшное слово: «старая дева»?!

— Я слов не боюсь, тетя.

— Нет, милая! надо бояться... Верь моему свидетельству — признанию старой девы, проклинаящей свою участь! Страшное, тяжелое слово!

— Как, тетя? Вы? вы клянете свою судьбу? Вы — всегда такая спокойная, холодная, рассудительная, не знающая ни страстей, ни...

— Все знаю я, Людмила, все! И слушай: в моей молодости был день, когда я колебалась, что мне делать — убить себя или осудить на вечное девство. Я выбрала второе... и худо выбрала!

— Но, тетя... вам много раз делали предложения; вы сами не хотели...

— Да, потому что не могла, не считала себя вправе, не считала себя свободною.

— Вы любили?

— Да, я любила твоего отца.

VI

Елене Львовне было шестнадцать лет, когда старшая сестра ее Лидия, яркая звезда петербургского большого света сороковых годов, вышла замуж за Александра Григорьевича Рахманова, молодого неслужащего дворянина с опасною репутацией «заграничного умника» и «красного». Так как мой отец пользовался своей репутацией не совсем незаслуженно, то, вскоре после свадьбы, ему пришлось надолго поселиться в деревне, на положении близком к ссылке. Из уездной глуши стали доходить к родным слухи о неладном житье молодых супругов. Моя мать, гордая, страстная женщина, кляла в своих письмах судьбу, связавшую ее неосмотрительным браком с неподходящим человеком. Она не уставала взводить на мужа разнообразные обвинения, и вот среди родни и друзей дома Алимовых начало слагаться представление об Александре Рахманове, как о чудовище вроде Рауля Синей Бороды: он терзает жену непомерной ревностью, держит ее взаперти, препятствует ей в самых невинных развлечениях и т. д. Поэтому, когда, года через три, Елена Львовна ехала гостить к сестре, она смотрела на свое путешествие, как на подвиг, мечтала облегчить своим приездом участь Лидии, доставить ей, в своем лице, подругу и наперсницу тяжелого семейного горя.

Но, вместо деспота мужа, Елена Львовна, к крайнему своему удивлению, нашла в моем отце добродушного, кроткого, немного вялого человека, вполне покорного жене, глубоко несчастного в браке и все-таки не возроптавшего на свое несчастье. Вместо угнетенной жены — нашла капризную самовластную женщину, в которой трудно было узнать прежнюю живую, эксцентричную, вспыльчивую, но ласковую Лидию Алимову. В доме и именье шла полная неурядица. «Не раздражать барыню!» — было единственным твердым правилом в быту Рахмановых, и барыню точно не раздражали, угождая ей с рабской покорностью во всех ее выдумках и затеях. А выдумки часто выходили за пределы всякого разума и приличия. Рахмановская усадьба была каким-то постоянным двором для губернской молодежи: гости не переводились в доме — дневали и ночевали, ели, пили, вели игру, ухаживали за красавицей хозяйкой, которой, по-видимому, очень нравилось это бесшабашное житье. Странность семейного склада Рахмановых заставила Елену Львовну объясниться с зятем начистоту. Она была возмущена и сильно горячилась:

— Как вам не стыдно?! Как вы допускаете и терпите такую сумятицу в своем быту? Что это? равнодушие? — так нет же! Вы любите Лидию: по вашему лицу видно, как вы страдаете....

— Допускаю и терплю, потому что прекратить не в моей, да и не в ее воле! — возразил мой отец.

— Как?! Я вас не понимаю... Подумайте: чем же кончится все это?

— А вот чем: пройдет припадок разгула, и Лидия сама положит конец этому безобразию, впадет в покаянный стих, станет молиться по целым дням, плакать, истязать себя веригами... Какой припадок хуже — этот или покаянный — уж и не знаю! Судите сами.

— Боже мой! Значит, Лидия...

— Душевнобольная! К сожалению, это несомненно, Елена Львовна, — сознался отец и заплакал.

Елену Львовну как громом ударило. Она не могла не поверить: душевнобольные встречались почти в каждом поколении рода Алимовых, а Лидия была не без странностей уже в детстве. Александр Григорьевич рассказал, как мог, историю недуга жены, созревшего в невольном провинциальном уединении. Однообразие жизни возбудило в молодой женщине жажду новых ощущений, заставило броситься очертя голову в омут первых представившихся незатейливых развлечений; почти невольно она изменила мужу: раскаявшись, сама рассказала ему свой грех и молила о прощении, а прощенная, стала презирать мужа за великодушие, показавшееся ей либо отсутствием любви, либо неприличною для мужчины слабостью. Презирая мужа, ненавидя себя, она искала забвения то в разгульных пирушках, то в преувеличенно-усердной молитве и чуть не аскетических подвигах. Сперва папа жестоко негодовал на жену, позорившую его имя, но мало-помалу убедился в полной произвольности ее поступков, примирился с роковым ударом, начал ее лечить... повез за границу, развлекал... О широкой жизни их в Париже ходили громкие легенды. В свои светлые промежутки мама блистала остроумием, образованием; о ней говорили, как о выдающейся звездочке среди парижских *esprits forts* [8]; тогда-то и целовал ей руки Гейне, и — проездом — написал романс Глинка... Но светлые промежутки видели только посторонние, а весь ужас припадков неизлечимой болезни падал свинцовою тяжестью на моего отца. Он нес эту тяжесть втихомолку, один-одинешенек — и впервые не вытерпел, поделился ею с Еленой Львовною... И вот, вместе с ужасом пред его горьким признанием, в душе Елены Львовны зародилась первая искра любви к моему отцу. Ей стало жаль нежного, честного сердца, истерзанного поруганною любовью, своим позором, горькою смесью презрения и сострадания к виновнице своего несчастья, все еще страстно любимой, вопреки всему, и — главное — состоянием полной безвыходности положения.

Когда скончался мой дед, Лев Андреевич Алимов, папа назначен был опекуном Елены Львовны, и с тех пор она не расставалась с нашим домом. Мама немногим пережила дедушку. Отец, убитый потерей жены, словно обезумел и, равнодушный ко всему на свете, не жил, а вяло влачил едва сознательное существование.

Уходу и заботам Елены Львовны папа был обязан своим возрождением. Тетя полюбила моего отца, неся целебную помощь его больному сердцу; он полюбил ее, принимая ее сострадание. «Она его за муки полюбила, а он ее — за сострадание к ним». Они объяснились... Вдовец от одной сестры, папа не имел права жениться на другой. Тогда-то тетя Елена разбила свою жизнь коротким приговором: «Покоримся необходимости. Нельзя идти против Бога». Напрасно папа доказывал, что закон можно обойти. Елена Львовна стояла на своем.

— Что мне в том, если вы сделаете наш брак законным в глазах людей, когда он останется непризнанным церковью и нами самими?

— Но ведь церковь даст нам свое благословение. Я найду священника...

— Да я-то не приму благословения от священника, который способен обманывать свою церковь, подделывать ее обряды... Не возражайте, Александр Григорьевич: вы не поймете меня: вам все равно, верите ли вы в Бога и церковь, а для нас, Алимовых, наша вера — наша совесть. Раскаемся, Александр Григорьевич, и — прочь от греха! Я не могу быть вашей женою... а ничем другим не хочу быть: гордость не позволяет... Простите меня!

Папа отвечал упреками:

— Вы не любите меня и никогда не любили. Вы просто развлекались от скуки платоническим романом. Вы обманули меня!

Елена Львовна смертельно побледнела, но — слишком гордая для оправданий — повторила:

— Я виновата, Александр Григорьевич. Простите меня!

А в ночь после этого разговора, над прудом нашего деревенского сада, долго стояла темная женская фигура. И люди, и природа давно спали крепким сном, убаюканные теплою лаской светлой весенней ночи, а женщина, одинокая, неподвижная и безмолвная, все стояла, сурово глядя в темное ложе пруда, слушала порывистый стук сердца в своей груди и думала, что это сердце разбито и ей надо умереть. Но младенческий образ девочки-сиротки пролетел перед ее глазами и остановил ее в роковом шаге... тетя Елена посвятила свою жизнь мне. Никогда после не напоминала она Александру Григорьевичу о былой заглушенной страсти. Что касается самого отца, все его попытки вернуться к вопросу неудавшейся любви разбивались о холодное молчание Елены Львовны. Года через два папа уже не делал и попыток: он привык видеть в Елене Львовне только добрую родственницу и, махнув рукою на недавнее прошлое, был уверен, разумеется, что и тетя поступила так же.

VII

— Да, говорила тетя Елена, — волнение улеглось, страдание притупилось; любовь не забылась, но перелилась в дружбу... нет, дружба — это мало... во что-то теплее, участливее. Ах, не легко далось мне это, но все-таки далось!.. Моя привязанность к тебе все росла и помогала мне в моем грустном пути. Пытка старого девства началась уже много позже.

Александр Григорьевич — увлекающийся человек. Он любил меня; потом, не встречая явного сочувствия, стал холоднее. Случалось ему, на моих глазах, влюбляться в других женщин. Сперва он конфузился этих неожиданных «измен» мне — своей «вечной любви», как неосторожно поклялся он когда-то и сам было поверил невозможной клятве. Он совестился меня, страдал, скрывался, обманывал, но ты знаешь своего отца: он не в состоянии провести и ребенка, — где же ему обмануть любящую женщину? Потом, уверясь, что я если не знаю его «измен» в точности, то, однако, догадываюсь о них и все-таки не возмущаюсь, и он сделался откровеннее... Суди сама, легко ли было мне оставаться спокойною свидетельницей целого ряда мелких увлечений любимого человека. Ах, эти идеалисты! С ними женщине горе — не лучше, чем с развратниками. У них — вот какие большие глаза на нас. Всякая смазливая рожица, которая им улыбнется, — уже Психея; каждая не совсем глупая, не вовсе злая девчонка — уже небесная душа... Но, да что распространяться! Дело говорит лучше слов: уж если Александр Григорьевич умудрился идеализировать даже Липу, — Филину из «Вильгельма Мейстера» она ему напоминала, видишь ли... радость, нечего сказать! — ты понимаешь, сколько подобных идеализаций пришлось мне перестрадать, прежде чем Бог наказал нас этим проклятым браком... Но я не считала себя вправе возражать и вмешиваться в ход жизни Александра Григорьевича. Что же? Раз я отказалась от его любви, — он человек свободный, обязанностей ко мне у него нет. Я только отвела свое сердце от него, — такого, каков он есть, — и стала любить его вдвое больше таким, каким раньше создало его мое воображение, каким — по-моему идеалу — следовало ему быть. А я тем сильнее любила свой идеал, чем больше исполнялась, про себя, ревнивою обидою к его носителю... обидою, может быть, недостойною и неправою: грешно требовать, чтобы человек, во имя одной неудавшейся любви, отказался воскресить свое сердце другою! Только эту — Липу — я была не в силах извинить ему, потому что она — животное, и кто любит ее, сам обращается в животное. Видеть же, как любимый человек оскотинивается и как торжествующая самка попирает его ногами... не дай Бог никому — самой худшей женщине, даже Липе этой, не пожелаю я такого горя, Мила!

Итак, я стала одинокою. Никому не было дела до меня, ни мне ни до кого. Я заключилась в своем больном чувстве... да в тебе, чужая дочка, дитя мое милое! Не будь тебя, не по силам было бы мне помириться с отказом от брака. Я рождена быть матерью и воспитательницей! Да и есть ли женщина — нормальная телом и духом женщина, — которая искренно чувствовала бы себя рожденною для других задач и целей? Это — главное в женщине, это — вечное; все остальное — постороннее, временное, преходящее, как век мира сего. Бог создал нас, чтобы мы обновляли земные поколения. Женщина может забывать о том, отстранять от себя и брак, и материнство, может заглушать, маскировать и заслонять от себя истинное свое назначение другими человеческими целями; но уйти от него не может и никогда не уйдет: некуда. Ты изумилась, выслушав проклятие девству от меня, гордой, целомудренной Елены Алимовой... О, Боже мой! Когда бы ты знала эту, ужасную в своей бесцельной неправоте, борьбу духа с телом. Могла ли бы ты верить, что под моей маской бесстрастия поднимались порывы такой дикой чувственности, что временами мне казалось — лишь самоубийством я могу спасти себя от падения, позорного, унижительного падения без любви... падения ради падения? Поверишь ли ты в бессонные ночи, полные жгучей тоски полупонятных желаний, в страстные сны, откликавшиеся своими призраками на все, и духовное и плотское, что книги и воображение подсказывали мне в слове «любовь»? Оценишь ли ты горе видеть бесплодно отцветающим свое тело? Сказать ли тебе, что бывали дни, когда я ненавидела память покойной Лидии, от зависти, зачем ты — ее, а не моя родная дочь? А годы, когда я решилась сознаться, что напрасно исказила себя? когда, в досадах на обидную действительность, стал меркнуть мой идеал? когда я со стыдом убедилась, что если Александр Григорьевич равнодушен ко мне, то время сделало свое дело и надо мною, и моя любовь из упорства неудовлетворенной страсти обратилась в упорство самолюбия, оскорбленного ранним охлаждением взаимного чувства в любимом человеке?.. Холодность — там, самолюбие — здесь... казалось бы, все кончено. Но нет: а обида-то? — Во имя чего же я принесла свою бесплодную жертву, если она, еще недавно принимаемая мною за подвиг, теперь, простою

силою давности, обратилась в жестокую бессмыслицу в моем же собственном мнении? Трудно, Милочка, обвинять себя в своем же несчастье, да еще несчастье целой жизни. Кажется, вот и сердце, и ум согласились уже: «Ты сама отказалась от счастья и добровольно обрекла себя зачем-то на пытку. Себя и вини! Никто другой не становился тебе поперек пути, напротив, были хорошие люди, еще указывали тебе дорогу к счастью!» А червь себялюбивый все-таки копошился в глубине души, и так и хочется подыскать источник своего зла во внешнем мире, оправдать себя насчет других... Тебя не поняли, тебя обидели; мир зол, глуп, отвратителен... Начинаешь понимать удовольствие сорвать зло, втягиваешься в эту жестокую самозабаву; временами является даже жажда быть оскорбленною, чтобы иметь право злиться: ведь если без повода-то бывает потом так совестно пред самую собою! Сколько друзей я представляла врагами себе, сколько дружб растеряла, сколько врагов нажила. Ты знаешь, я не глупа. Но я мало занималась своим «я»; в юности нас учили — Бог знает, к добру или к худу! — больше интересоваться своими отношениями к людям нашего общества, чем рыться в своей душе. Но горе углубляет человека в себя, и в моей девической трагикомедии не укрылась от моего разбора ни одна черта. Сколько дурного, темного — такого, за что мне делалось стыдно в следующее же мгновение, — передумала и перечувствовала я в эти годы! Сколько я завидовала, ненавидела, презирала, сколько терзалась и злобилась! Я достаточно честна, чтобы стыдиться таких движений большого духа, и достаточно сильна, чтобы скрывать их. Выдержка-то есть: на то я и Алимова. Мы, Алимовы, люди долга, а не прихотей. Все считали и считают меня живым опровержением на ходячее представление о старой деве. Ложь! Когда бы люди знали, каким египетским трудом выработана моя маска доброты, спокойствия! Я добра, потому что должна и могу заставить себя быть доброю, а не потому, что я хочу.

Теперь мне лучше. Сорок лет — бабий век. Женщина во мне умирает... тело вянет... дух стал свободнее, мысль чище... Но до этого!.. Боже мой!

Ах, Людмила, не ругайся над плотью! Она покоряется, но и в порабощении жестоко мстит за себя. Если ты любишь себя, если ты хочешь испытать в жизни хоть несколько мгновений чего-то похожего на счастье — будь женою и матерью! Выходи замуж. Ты заранее преступница пред своим будущим мужем, кто бы он ни был. Он уже обманут тобою, и ты заранее осуждена тянуть этот старый обман всю жизнь, до могилы. Стыдно это, подло, ужасно... тяжело и мучительно дастся оно тебе! Дурно, позорно с моей стороны убеждать тебя к этому, — да что мне теперь до позора! Мой позор со мною и останется; мой позор — мое и покаяние. Я так люблю тебя, я должна спасти тебя — спасти именно от того, чтобы ты не прошла сквозь унылые мытарства моей «завидной» жизни... Мне жаль, мне жаль тебя!.. Выходи замуж. Обманывай и страдай от обмана, но лучше десять обидных тайн, десять обманов на совести, чем тоска и каторга старого девства! * * *

Дочитав рукопись до конца, Людмила Александровна откинулась в глубь кресла и, прижавшись затылком к холодной кожаной спинке, глубоко задумалась. В ровном матовом свете лампы, неподвижная, с бледным лицом и широко открытыми черными глазами, она казалась скорее картиною какого-нибудь меланхолического мечтателя-художника, чем живым человеком... Часы пробили два... Людмила Александровна встrepенулась, вздохнула, провела рукою по лбу и, придвинув к себе рукопись, взялась за перо... На последнем, оставшемся чистым в тетради листке она написала следующее:

«Пятнадцать лет тому назад я, уже замужняя женщина, в минуту очень тяжелого настроения, полная угрызений совести пред мужем, неповинно мною обманутым, спросила моего друга, литератора Сердецкого:

„Аркадий Николаевич! что делать человеку, если у него на душе есть тайна, которую нельзя сказать людям, а между тем она душит его, сводит с ума, отравляет ему каждую мысль, каждый кусок хлеба?..“

„Парикмахер доблестного царя Мидаса, — шутливо отвечал Сердецкий, — в таком казусном положении доверил свой секрет ямке, вырытой в болоте. Но на болоте вырос тростник, и шепот его рассказал всему миру, что у царя Мидаса — ослиные уши. Тайна — если есть потребность ее рассказать — уже не тайна, Людмила Александровна“.

„Но что сделали бы вы на месте такого человека?“

„Вероятно, заперся бы в своем кабинете, взял лист бумаги, написал на нем все, что меня давит, и потом запер бы написанное в самый потайной ящик своего письменного стола... Бумага менее разговорчива, чем тростник в царстве Мидаса... Недаром же про нее говорят, будто она все терпит. А поделиться своею бедою, хоть с бумагою, — конечно, большое облегчение. „В минуты жизни трудные“ я перечитывал бы свою рукопись, вносил бы в нее новые подробности, поправки, и, вероятно, в конце концов из нее вышла бы весьма недурная вещичка во вкусе входящих теперь в моду психологических этюдов“.

Я приняла совет Сердецкого и написала тогда эту рукопись. Пятнадцать лет пролежала она в бюро, и ни разу не потянуло меня пересмотреть ее, ничто не вызывало меня снова пережить и перечувствовать ее содержание. Прочитала сейчас и вижу, что мне нечего добавить к своему рассказу, а что было после — уже не тайна и укладывается в два слова. Тетя Елена настояла, чтобы я вышла замуж за Степана Ильича Верховского. Он сумел сделать наше супружество счастливым и обратить в привязанность мое уважение к нему... Я употребила все усилия воли, чтобы быть достойною женою своего мужа — и, кажется, успела в этом. За восемнадцать лет брака мы не имели ни крупных ссор, ни обидных недоразумений и сомнений друг в друге. Дети наши — прекрасные дети. Тайна моего девичьего стыда умерла в этом браке. Тетя и Ревизанов были единственными свидетелями, которые знали все. Липа и Раиса могли лишь догадываться, но не смели обвинять с уверенностью. К тому же Липа — из тех, которые любят сами грешить, так и в других грех за беду не считают. Она — пустельга, но не доносчица. Да по ветрености своей она уже и забыла все: подробности нашего столкновения бесследно выдохлись из ее памяти; я не раз убеждалась в этом. Раисы вскоре не стало в нашем доме: ее кто-то сманил... В семидесятых годах Аркадий Николаевич Сердецкий, возвратясь из Петербурга, со смехом рассказывал мне, что признал Раису в одной известной опереточной звезде... Выйдя в люди, не особенно охотно вспоминают о времени, когда были горничными, и не затевают историй, связанных с такими воспоминаниями. Итак — остаются только тетя и Ревизанов. Но не тете было предавать меня. А Ревизанов надолго исчез из Москвы, и лишь сегодня я опять видела его. К большой моей досаде, Степан Ильич пригласил его к нам обедать. Придется любезно встречаться с человеком, к которому — и хотела бы, а не могу относиться равнодушно: не простила ему ничего, презираю и ненавижу, как восемнадцать лет тому назад. Мне не хотелось бы, чтобы он заметил это: слишком много чести! — а скрыть будет трудно. Сегодня в театре, увидав этого негодяя, я взволновалась, как не волновалась с тех проклятых дней. Надеюсь, что это было последнее мое волнение по этому поводу и что больше мне не придется ни перечитывать моей старой тетради, ни вносить в нее новых строк».

VIII

Воскресные обеды «своих» у Верховских были старым обычаем их дома. Собирались: Ратисовы, Синев и Елена Львовна Алимова, если бывала в Москве; из посторонних приглашалось не более двух-трех человек. Обедали в маленькой столовой, с обычным сервизом, без церемоний, по-родственному. Поэтому приехавший первым в воскресенье Синев даже руками развел: настолько праздничным блеском отличались приготовления к обеду...

— Сестричка! — завопил он. — Превращаюсь в статую восторга и изумления! Серебра-то, хрусталя-то... Господи Боже мой! «Богат и славен Кочубей, его луга необозримы!»

— Ради Бога, не так шумно, Петр Дмитриевич, — с досадой отозвалась Верховская. У нее с утра болела голова, и, не вмешиваясь в приготовления к обеду, она весь день пролежала на кушетке у себя в будуаре.

— Позвольте! Но чьи же сегодня именины?! Ваши? Лели? Лиды? Надо же мне знать, для кого посылать за конфетами.

— Пошлите для Ревизанова: он сегодня у нас обедает, и ради него Степан Ильич, как видите, поднял весь дом на ноги.

Лицо Синева омрачилось. Он смиренно сел на стул возле Верховской.

— Людмила Александровна, — сказал он с укором в глазах, — зачем вы принимаете такую дрянь?

Верховская пожала плечами:

— Желание Степана Ильича! Вы знаете: у него благоговение к старинным знакомствам — недуг какой-то... Не видался с человеком двадцать лет, встретился — вот, на радостях, и фестиваль... Я очень спорила, но Степан Ильич даже немножко рассердился. Не ссориться же мне с мужем из-за господина Ревизанова! Верьте, голубчик: появление этого человека в нашем доме мне неприятнее, чем кому-либо...

Она помолчала.

— Да еще, как нарочно, нездоровится. В висках кузница, а изволь его занимать...

— Вот еще! очень надо! — сердито воскликнул Синева, — охота церемониться! Подкиньте его неувядаемой Олимпиаде, вот и вся недолга. И она будет счастлива, и ему не будет скучно: он ведь ферлакур известный... Что вы морщитесь?

— Боже мой! говорю же вам: мигрень... Помнится, вы в театре собирались рассказать мне что-то о Ревизанове?..

— Виноват, кузина: не рассказать, а посплетничать. Рассказывать можно лишь то, в чем уверен. А будь я хоть капельку уверен хоть в одном эпизоде из московской Ревизаниады — хо-хо! не обедать бы ему у вас, а сидеть бы, другу милому, в Бутырской академии, на цепуре... Ведь я уже говорил вам, что в ревизановской легенде вы найдете все что угодно: и убийство, и шантаж, и грабеж, и подделку документов.

— Славный гость для порядочного дома! — заметила Верховская с жестом отвращения.

— Э! кузина! — утешил ее на этот раз Синева, — таких ли господ приходится знать и подавать им руку... Общество неразборчиво... О Ревизанове мы, по крайней мере, ничего верного не знаем. А вон я ездил с сенатором Лисицыным в Сибирь на ревизию — так прямо диву давался: наши господа червонные валеты, сосланные за растраты, кражи, мошенничества, всюду — первые гости, если, конечно, они сберегли что-либо из украденного. А раз мы так добры, что не отказываем в любезном приеме даже шельмованным молодцам, какое нам дело до прошлого человека с какою угодно легендой? Особенно когда человек этот очаровательный мужчина и — главное — первоклассный капиталист? Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Не философствуйте, а рассказывайте легенду.

— Э! однако я вас заинтересовал. Вот уверяют, например, будто обе жены Ревизанова, — и мануфактурщица Ахова, и золотопромышленница Лабуш, — умерли не своей смертью; будто приисковый врач Штерн, который пользовал Лабуш пред ее кончиной и которого молва считает тоже не без греха в этом деле, вскоре был уволен Ревизановым за какие-то дерзкие намеки, поехал в Екатеринбург и, не доехав, пропал, по дороге, без вести в тайге... Ну, и еще десятки тому подобных сказок.

— Скажите откровенно: вы лично им верите хоть сколько-нибудь?

— Нет! — с некоторым колебанием ответил Синев, — нет! Что-нибудь есть за ним темное и скверное, — только не такое, а в другом роде. Видите ли, во-первых, подозрительные обстоятельства, при которых умерла вторая жена Ревизанова, вызвали — как я уже говорил вам — тайное дознание. Производил его человек в высшей степени добросовестный и самым тщательным образом. Однако он не открыл ни тени не то что преступления, но даже некорректных каких-либо поступков со стороны Ревизанова. Наоборот, сам Ревизанов скорее был в этом браке страдательным лицом, угнетенным несчастным мужем, потому что золотопромышленница его — как выражался Кузьма Прутков, — «следуя обычаям своей страны», — пила мертвую чашу, допивалась до белой горячки и скандалила на весь Урал, пока благополучно не умерла от цирроза печени. Говорили, правда, что пить она стала с выучки и благословения возлюбленного супруга, но таких преступлений российские законы не предвидели и наказания за них не предусмотрели. Да и правда ли? Мало ли с чего вдруг возьмет да и сопьется русская купчиха: чему другому, а пьянству учить ихнюю сестру нечего, — горазда и без наставников. Во-вторых, трудно допустить в интеллигентном человеке возможность такого последовательно отрицательного характера. Цезари Борджиа исчезли во мраке веков. Нынче систематическими преступлениями занимаются только дегенераты, дикари цивилизации. И, наконец, в-третьих, преступление дело копотливое; своими отголосками оно отнимает у человека много времени, а Ревизанову — этому вечно, как в котле, кипящему дельцу — навязывают на шею такую пропасть вопиющей об отмщении уголовщины, что трех жизней мало, чтобы успевать играть в прятки с законом при столь стеснительной обстановке. Все обвинения на него, разумеется, раздуты, искажены, перевернуты с лица наизнанку. Тут и зависть, и довольно общая страстишка позлословить насчет выдающегося человека, и выдумки ненависти: у Ревизанова масса врагов — и за дело, и просто по антипатии... Ведь он очарователен, только когда хочет, а вообще, пренадменная скотина... Но с другой стороны, повторяю, — и дыма без огня не бывает: какая-нибудь искорка правды сверкает и в этих рассказах; да вот — поди! поймай эту искорку!..

Он задумался.

— Что Ревизанов — человек огромной силы воли и не трус, — начал он снова, — я лично могу вам засвидетельствовать. Я — совсем юным кандидатом на судебные должности — был причислен к суду в Северске, как раз когда бунтовали рабочие на железной дороге, тогда еще только начатой. Я сам видел, как Ревизанов, один, без оружия, вошел в самую середину толпы, озлобленной справедливим негодованием — кормили их убийственно! — и водкою. Рабочие только что зашвыряли камнями станового и изувечили двух урядников. В воздухе висели крики: «Подавай нам самого Ревизанова! что на него смотреть? бей его, ребята!» Он осмотрелся, выглядел крикуна погорластее, собственноручно взял его за шиворот и приказал связать.

— И связали?

— Да. Уж очень хорошо приказал. У меня вчуже пошли по спине мурашки. Прикажи он мне так внушительно связать даже отца родного, — кажется, и я бы тоже оробел и машинально повиновался. А с_о_з_н_а_т_е_л_ь_н_о действовать на толпу — это, я вам скажу, не шутка. Тут много надо и характера, и презрения к человеку — уменья смотреть на него, как на скот,

обязанный беспрекословно повиноваться. Люди, снабженные таким даром и умением, далеко не часто встречаются и обыкновенно сортируются по двум категориям: либо это великие народные вожди и деятели, либо большой руки каналы и хладнокровные, сознательные преступники... И так как Ревизанов не великий человек, да уже и выходит из лет, когда формируются великие люди, то я позволяю себе считать его во втором разряде «героев толпы» — то есть сопричислить его «со тати и разбойники».

Синев встал и прошелся по комнате: он соображал и припоминал.

— Вообще, бороться и враждовать с Ревизановым я не желал бы... Вы не слыхали про некоего Блюма?

— Нет. Кто это?

— Петербургский банкир, компаньон Ревизанова по постройке Северной дороги. Видите ли: известно, что Ревизанов ведет отчаянную биржевую игру, хотя лично он очень редкий гость на бирже и имеет странность притворяться совсем непричастным к ее жизни; нескольких завязтых биржевиков — к слову сказать, господ с весьма сомнительным прошлым — считают его уполномоченным агентом. Весьма часто, при необъяснимых колебаниях русских частных бумаг, наши — в особенности петербургские — дельцы, опасливо придерживая карманы, восклицают: «Ох, не Ревизановым ли тут пахнет?» — и стараются сбить с рук начавшую подозрительно танцевать бумагу. Но возвратимся к Блюму. Этот господин — зазнавшийся немец из тех, которые, наживаясь русским потом и кровью, помнят твердо только одно: что русский — «свин», а у них есть «свой король в Германии». Однажды он сказал Ревизанову крупную дерзость, Ревизанов смолчал, но с этого дня на Блюма посыпались непонятные невзгоды: купит он какие-нибудь акции в повышении — глядь, на завтра курс на них падает до *minimum'a*; продаст что-либо в *minimum'e* — глядь, курс начинает подниматься; значит, покупай обратно с большим убытком... а завтра опять скачок вниз! Скоро прошли слухи, что Блюму приходится плохо и он ненадежен. Вкладчики его конторы единодушно потребовали свои деньги, и Блюм позорно крахнул. На бирже все соглашались, что Блюма убрал Ревизанов. Если это правда, то, ради мести, он позволил себе большую роскошь: биржевые скачки, погубившие Блюма, балансировали по меньшей мере на полумиллионе... Да и всем, кто ссорится с Ревизановым, начинает как-то не везти: одни разоряются, другие теряют службу, третьи, наконец, пропадают без вести, даже умирают.

— Что вы говорите?

— Да, право, так. По смерти Лабуш ее единственный родственник, известный сибирский делец Тотьмин, вздумал было оспаривать завещание, оставленное покойною в пользу мужа и... в одночасье умер от удара.

— Что же? в этой истории нет ничего неестественного.

— А я разве утверждаю противное? Я только привожу пример, что ревизановским врагам бабушка не ворожит.

Приехала Олимпиада Алексеевна с мужем, разодетая, как на раут, и — точно лейденская банка — заряженная кокетством.

— Фу-ты ну-ты! — встретил ее Синев. — Не женщина, а Святослав в юбке! «Иду на вы» — и шабаш! Держись теперь, Андрей Ревизанов!

— А тебе завидно?

— Куда уж мне завидовать! Где нам, дуракам, чай пить? Наше место — на заднем столе, с музыкантами.

Ратисова осмотрела туалет Людмилы Александровны:

— Ты не будешь переодеваться к обеду? так, вот в этом и останешься?

— Конечно, — с досадою возразила Верховская. — С какой стати мне рядиться? Не именины же у нас в самом деле, как уже посмеялся Петр Дмитриевич...

— Да нет, кузина, я ведь ничего... — сконфузился молодой человек.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь: вы совершенно правы, и весь этот фестиваль по случаю знакомства, — как в афишах пишут — «в первый раз по возобновлении», ужасно глуп...

Ратисова продолжала критиковать ее взглядом.

— Впрочем, — сказала она, — черное удивительно идет к тебе... Испанка какая-то... Ты очень интересна сегодня.

Она расхохоталась и ударила Синева веером по плечу:

— Ну, ты, молокосос! признавайся: восхищен нами?

— Если бы вы еще не дрались!.. — жалобно простонал Синева, почесывая плечо.

— Есть в вашем тщедушном поколении женщины, как мы? Ну — кто нам даст наши тридцать шесть лет?

Людмила Александровна невольно рассмеялась:

— Липа, побойся Бога! ты ворует целых три года... Мне-то действительно тридцать шесть, а ведь ты старше меня.

— Да? Ну, значит, с нынешнего дня будет тебе тридцать три, потому что я больше тридцати шести иметь не желаю. А впрочем, не все ли равно? Э! тридцать шесть, тридцать девять — невелика разница. Разве года делают женщину? Лета — *c'est moi* [9]! Были бы душа и тело молоды!

— О теле не осведомлен, — уязвил Синева, — но уж души моложе вашей, кажется, и не бывает.

— Еще бы! Про меня сам Мазини сказал третьего дня, что я *jolie personne*... [10] Кто мне даст больше тридцати? А уж о тебе, Людмила, и речи нет. Помню тебя девочкой: красавица была; помню барышней — тоже хоть куда; вышла замуж, пошли дети — подурнела, стала так себе; а теперь опять — прелесть как расцвела, — давай-ка, душка, справлять вторую молодость?.. а?

Людмила Александровна и Синева смеялись, но рыжая красавица победительно потрясала кудрявою прическою своею.

— Совсем нечего зубы скалить, — я правду говорю. А если не веришь на слово, что мы еще можем постоять за себя, — вот тебе документ.

Она бросила Людмиле Александровне розовую бумажку.

— Что такое?

— *Billet doux* [11]. Так это называется. «Обожаемая Олимпиада Алексеевна! Давно скрываемое пламя любви»... и прочая и прочая. Сегодня получила. И ему всего двадцать два года. Нет, старая гвардия умирает, но не сдается!

Людмила Александровна прочитала, расхохоталась и передала записку Синеву:

— Глупо-то, глупо как!

Олимпиада Алексеевна возразила хладнокровно:

— Это тебе с непривычки. А мне ничего, даже очень аппетитно.

Синев прочитал и сказал язвительно:

— Слог «Собрания переводных романов». Должно быть, приказчик из Пассажа писал.

Олимпиада Алексеевна, с тем же непобедимым хладнокровием, отразила и этот удар:

— Это уж известно, что когда молодой человек читает письмо другого молодого человека, написанное к красивой женщине, то автор письма непременно оказывается либо приказчиком, либо военным писарем, либо еще того хуже.

— Получили? — улыбнулась Людмила Александровна.

— Тетушка! Вы неподражаемы.

— А ты не кусайся!

Подъехали Реде и Кларский — подчиненные Степана Ильича по банку, молодые люди, почтительные, тихие, незначущие и незаметные — в периоде делания карьеры... Не хватало лишь Ревизанова. Наконец задребезжал в передней и его звонок.

— А вот и сам великий маг Калиостро! — возгласил Синев.

IX

Сверх общего ожидания, обед прошел живо и весело. Казалось, Ревизанов чувствовал, что в доме есть враждебный ему лагерь, и, употребляя все средства, чтобы добиться от этого лагеря если не мира, то перемирия, был действительно очарователен. Сидеть ему пришлось между хозяином и Олимпиадою Алексеевною. К великому удовольствию Людмилы Александровны, к обеду приехал, давно уже не бывший у Верховских, Аркадий Николаевич Сердецкий; знаменитый литератор был гостем почетнее Ревизанова, и ему, по праву, досталось место рядом с хозяйкою. В своих серебряных кудрях вокруг далеко еще не старого лица, оживленного блестящими карими глазами, Сердецкий представлял собою фигуру внушительную и картинную.

— Ума не приложу, Аркадий Николаевич, — говорила ему Олимпиада Алексеевна, — как это мы пропустили с вами время влюбиться друг в друга?..

— Это, вероятно, оттого произошло, что я тогда слишком много писал, а вы слишком мало читали, — отшучивался литератор.

— А когда стала читать, то уже оказалась героинею не вашего романа?

— Все мы из героев вышли! — вздыхал Сердецкий. Обыкновенно очень живой и разговорчивый, сегодня за обедом он приумолк и лишь все поглядывал яркими, внимательными глазами на Ревизанова, которого — между десертом и фруктами — Синев втянул в довольно обостренный спор. Дело шло о крахе не крупного коммерсанта — клиента

банка, где директорствовал Верховский. Банкротство было явно злостное. Банкрот скрылся за границу, и поймать его было мало надежды...

— Да и какая польза ловить? — заметил Ревизанов. — Истратят чуть не столько же, сколько он украл, на поимку. В конце концов — один результат: обокраденным дан приятный — да еще и приятный ли? — спектакль: «Чужое добро в прок нейдет»... Удивительно целесообразное зрелище: на скамье подсудимых, между двумя жандармами с саблями наголо, сидит нищий, сумевший сделать нищими сотню людей глупее себя... Кому тут польза?

— Что же? значит, так и не ловить господ денежных воров? — задорно отозвался Синев, — так и оставлять их? Грабьте, мол, милые люди, сколько душевненьке угодно: своя рука владыка...

— Нет, отчего не ловить при случае? Ловите, — не без легкой насмешки возразил Ревизанов, — но только, прежде чем ловить вора, надо ловить похищенные им деньги. Потому что — верьте мне — вор сам по себе, без украденной им суммы, решительно никому не нужен — даже тем, кого он обездолил. Деньги — вещь деловая-с, и в денежных вопросах *vendetta catalana* [12] — вещь весьма редкая и второстепенная... Сами посудите, какая мне радость, что закон отмстит за меня и ушлет Ивана Ивановича в Сибирь, когда Иван Иванович перед этим до копейки проиграл мой капитал в Монте-Карло? Ну, Иван Иванович будет в Сибири, деньги в Монте-Карло, а я — в Москве и без денег, и без Ивана Ивановича, который, хотя и немножко — виноват, *mesdames*, — мазурик, но в общем милейший человек... Только и всего!

— Но как же это сделать — ловить украденные деньги? — вмешался Верховский.

— А уж это — вне моей компетенции. Это — по части Петра Дмитриевича. На то он и судебный следователь.

— Вы как будто не очень высокого мнения о нашем институте, Андрей Яковлевич? — спросил Синев.

— Сохрани Боже! Напротив, обожаю его... Помилуйте! Да не будь вашего брата на свете, никто бы и ночи одной не уснул спокойно, все бы думалось: нет ни правды, ни управы на зло в свете, — не зевай, значит, человеке, а то зарежут. Ну, а когда вы, господа судейские, сошлете сотню-другую божьего народца в компанию к Макаровым телятам, — все поспокойнее. Вот, дескать, одну миллионную долю мирового зла уже искоренили... всего девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять долей осталось... на приплод, вместо искорененной!

Синев закусил губу:

— Однако у вас статистика!

— Какая есть — практическая.

— Наша, научная, добрее: она не такая страшная.

— Зато и не такая точная: считает только пойманных.

— А не пойманный-то — не вор, говорит пословица, — закатился добродушным смехом Степан Ильич.

Ревизанов улыбнулся:

— Я то же думаю, потому что иначе, если рассуждать по всей строгости законов, — даже мы

с вами вряд ли ходили бы на воле.

— Ну-с, это уже парадокс, — возразил Синев, — и даже нельзя сказать, чтобы особенно новый...

— Вы совершенно правы. Еще Гамлет говорил что-то в этом роде... Вот Аркадий Николаевич должен помнить.

Сердечкий, тихо беседовавший в это время с Людмилой Александровной, поднял на Ревизанова смеющиеся глаза.

— Нет, — сказал он звонким, густым голосом, — Гамлет сказал не то. Гамлет сказал, что «если бы с каждым обращаться по достоинству, то немногие избавились бы от пощечины»... Это совсем другое... А вот покойник Монахов действительно певал с эстрады:

Или нет виноватых кругом,

Или все мы кругом виноваты.

Ревизанов почуял в невинном тоне литератора скрытую насмешку.

— Это довольно зло, Аркадий Николаевич, — рассмеялся он, — и, сверх того, несправедливо. Нет, все не виноваты. А просто: есть люди, которые бьют и которых бьют, волки и овцы, преступники и жертвы...

— Вы в какой же лагерь себя зачисляете? — спросил Синев.

Ревизанов посмотрел на него с удивлением: «Вот, мол, бессмысленный вопрос!» — и даже плечами пожал.

— Что за охота быть овцой?

— Любопытный типик! — тихо заметил хозяйке Сердечкий. — Из новых... я еще не встречал таких откровенных...

— Он не противен вам? — отрывисто спросила Людмила Александровна.

— Мне? Бог с вами, душа моя! Люди давно перестали быть мне милы, противны, симпатичны, антипатичны... Для меня общество — лаборатория; новый знакомый — объект для наблюдений; новое слово — человеческий документ. И только. Затем — «не ведая ни жалости, ни гнева, спокойно зрю на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно»... Я, дорогая моя Людмила Александровна, в обществе держу себя — как приятель мой, зоолог Свешников, у себя на станции в Неаполе. Притащил ему рыбак какую-то слизь морскую. Меня — *passez le mot* [13] — от одного вида ее с души воротит, а Свешников прыгает от радости: всего, видите ли, два раза в девятнадцатом столетии ученые наблюдали эту пакость!.. Как-то раз приезжает он ко мне в Москве, а у меня сидит профессор Косозраков, — знаете, дрянь, доносчик, чуть ли не шпиониска. Не помню, по какому случаю он сделал мне визит. Свешников — на дыбы: можно ли знаться с подобными господами? А я ему: а неаполитанскую слизь помнишь? Она, брат, все же трижды в столетие показалась, а такие подлецы, как Косозраков, раз в три столетия рождаются. Как же мне упустить случай наблюсти столь редкостный экземпляр?

К концу обеда у Людмилы Александровны действительно не на шутку разболелась голова. Воспользовавшись временем, пока мужчины отправились курить в кабинет Степана Ильича, она прилегла у себя в будуаре. Олимпиада Алексеевна повертелась возле нее несколько минут — и не вытерпела, убежала к мужчинам. Ревизанов решительно влюбил ее в себя, как говорится, «на старые дрожжи»... Сердецкий и Синев — некурящие — пошли по дому отыскивать хозяйку.

— Вы что же это уединились, кузина? да еще в потемках?

— Мне совсем нехорошо... от болтовни и смеха мигрень усилилась... голова — ну просто лопнуть хочет...

— Так мы не будем вам мешать; вы, может быть, уснете?

— Нет, оставайтесь, пожалуйста. Вы забываете, что я хозяйка и не имею права болеть...

— От какого, однако, смеха разболелась у вас голова, Людмила Александровна? — сказал Сердецкий. — Я следил за вами: в течение всего обеда вы ни разу не улыбнулись... Я даже сложил это в сердце своем и собирался, по праву старой дружбы, спросить вас после обеда: не случилось ли чего неприятного, что вы так озабочены?

— Решительно ничего, милый Аркадий Николаевич... Мне стало хуже не от своего, а от чужого смеха: его было слишком много.

— Мы тут ни при чем, — жалобно возразил Синев, — благодарите Ревизанова... Сегодня он герой: без умолку ораторствовал и потешал почтеннейшую публику.

— Не за что благодарить: мигрень — не большое удовольствие... Что же, Аркадий Николаевич? какое впечатление произвел на вас, в конце концов, этот господин?

Литератор развел руками:

— Как вам сказать? Я вспоминаю его в молодости и должен сказать, что, конечно, он выработался в гораздо более интересный тип, чем можно было ожидать... Когда он был вхож в дом вашего покойного отца, признаюсь, я не думал, что из него выйдет что-либо больше смазливого мужа богатой жены или — как впоследствии стали выражаться — альфонсика.

— У господина Ревизанова, — прервал Синев, — надо полагать, имеется приворотный корень. Мы с вами, Людмила Александровна, одни в открытой оппозиции. Вы слышали, что сказал Аркадий Николаевич? Как хитрый Талейран, он объявляет себя в нейтралитете. А Степан Ильич, Кларский, Реде, даже этот болван Иаков — прямо влюблены: глядят в глаза, поддакивают, льстят, хохочут на каждое слово... черт знает что такое! Об Олимпиаде Великолепной я уж не говорю: сия V?nus gousse [14] прямо потопила Ревизанова волнами своей симпатии... Только напрасно! дудки! этот не клонет, не по носу табак, как говорят мои клиенты...

— Какие клиенты?

Синев засмеялся:

— У меня клиенты — народ хороший: все эдак лет на двенадцать рудников.

Сердецкий тонко посмотрел на судебного следователя и погрозил ему пальцем:

— Вы смеетесь над другими, а сами, кажется, больше всех заинтересованы своим таинственным незнакомцем, как вы его называете.

Синев засмеялся:

— Мое дело особое.

— Почему же?

— Потому что есть пословица: сколько вору ни воровать, а острога не миновать. У меня — смейтесь надо мной, если хотите, — но есть предчувствие, что мне еще придется со временем возиться с господином Ревизановым в следственной камере. Знаете, зачем я сейчас ушел из кабинета? Не стерпел: ругаться захотелось. Он там свои убеждения развивал... Ну, ну! Не желал бы я попасть в его лапы!

— Что же? — слабо спросила Людмила Александровна.

— Хорошие убеждения. У него, как у Ивана Карамазова: все позволено. Только Ивану Карамазову «все позволено» жутко довелось: черт пригрелся и капут-кранкен пришел, а господин Ревизанов чувствует себя в своих принципах, как рыба в воде. Да что слова? Слова можно взводить и клепать на себя. Вы посмотрите на его физиономию: маска! Нежность, скромность, благообразие — не лицо, а «руководство хорошего тона». Губы с улыбкой, точно у опереточной примадонны, а в глазах — сталь... не зевай, мол, человеке, слопаю!

Явилась Олимпиада Алексеевна и увела за собою всех к обществу. В зале были уже раскрыты карточные столы, но мужчины еще не спешили к ним, разгоряченные общим разговором.

— Как угодно, Андрей Яковлевич, — кричал Степан Ильич, — а все это софизмы!

— Как для кого, — возражал Ревизанов.

— Вы меня в свою веру не обратите.

— Я и не пытаюсь. Помилуйте.

— Больше того: я даже позволю себе думать, что это и не ваша вера.

— Напрасно. Почему же? — возражал Ревизанов со снисходительной улыбкой.

— Потому что вера без дел мертва, а у вас слова гораздо хуже ваших дел.

— Спасибо за лестное мнение.

— На словах вы мизантроп и властолюбец.

Ревизанов, в знак согласия, наклонил голову:

— Я действительно люблю власть и — в огромном большинстве — не уважаю людей.

— Однако вы постоянно делаете им добро?

— Людям? — как бы с удивлением воскликнул Ревизанов. — Нет!

— Как нет? Вы строите больницы, учреждаете училища, тратите десятки тысяч рублей на разные общепользные заведения... Если это не добро, то что же по-вашему?

Ревизанов пожал плечами:

— Кто вам сказал, что я делаю все это для людей и что делаю с удовольствием?

— Но...

— Мало ли что приходится делать, чего не хочешь, чтобы получить за это право делать, что хочешь! Жизнь взятку требует. Только и всего. Теория теорией, а практика практикой.

— Вы клеветаете на себя, Андрей Яковлевич! — сказал Верховский, дружески хлопая Ревизанова по плечу. — Вы делаете добро инстинктивно. Вы хотите, сами того не сознавая, отслужить свой долг пред обществом, которое вас возвысило...

Ревизанов двинул бровями, как бы смеясь над легковерием собеседника и в то же время жалея его.

— Долг!.. отслужить!..

— Вы смеетесь? — слегка краснея, изумился Верховский.

— О, нет. Над чем же тут смеяться? Я только нахожу эти слова неестественными. Зачем человек будет служить обществу, если он в состоянии заставить общество служить на себя? К чему обязываться чувством долга, имея достаточно смелости, чтобы покоряться лишь голосу своей господствующей страсти, и достаточно силы, чтобы исполнять волю этого голоса?

Наступила минута молчания. Степан Ильич бормотал что-то, смущенно разводя руками.

— Сколько вам лет, Андрей Яковлевич? — простите нескромный вопрос! — спросил он наконец.

— Сорок четыре.

— Странно! Мне пятьдесят шесть; разница не так уж велика. Я ближе к вам по годам, чем вон та молодежь... мой Митя, даже Петя Синев... а — извините меня! — не понимаю вас: мы словно говорим на разных языках.

— Да так оно и есть. Я говорю на языке природы, а вы на языке культуры. Вы толкуете о господстве долга, а я — о господстве страсти. Вы стоите на исторической, условной точке зрения, а я — на зоологической, абсолютной истине. Вам нравится, чтобы ваша личность исчезла в обществе, чтобы ваша частная воля покорялась воле общественной; я же измышляю всякие средства и напрягаю все свои силы, чтобы, наоборот, поставить свою волю выше общей.

— Вот как! — отозвался Синев из дальнего угла, откуда он, вместе с Людмилою Александровною и Сердецким, прислушивался к спору.

— Вы что-то сказали?

Ревизанов вежливо обратился в его сторону. Синев подошел ближе:

— Простите, пожалуйста, но вы мне напомнили... впрочем, неудобно рассказывать: не совсем ловкое сближение...

— Не стесняйтесь! — Ревизанов сделал бровью чуть уловимое движение надменного безразличия, которое взбесило Синева.

— Я слышал, — очень зло сказал Петр Дмитриевич, — вашу фразу на допросе одного интеллигентного... убийцы. Мы философствовали немножко, и он, между прочим, тоже

определял преступление, как попытку выделить свою личную волю из воли общей, поставить свое «я» выше общества.

Ревизанов одобрительно кивнул:

— Да, в сознательном преступлении, несомненно, есть этот оттенок.

— И преступление — обычная дорога к вашему излюбленному царству страсти! — горячо воскликнул Верховский.

Ревизанов равнодушно пожал плечами:

— Бывает.

— Хорошая дорога, скажете?

— По крайней мере, хоть куда-нибудь приводит.

— Да всякая дорога ведет куда-нибудь!

— Ну нет. Перейти, например, с тропинки на проселок, а с проселка на большак — еще не значит прийти куда-нибудь... Вы пришли — когда вы на месте, куда шли; раньше вы только бродите.

— Знаете ли, Андрей Яковлевич, — перебил его Синев, — ваша теория — золотая для Жаков Лантье, Карамазовых...

Ревизанов опять, в знак согласия, склонил голову.

— И Наполеонов, — спокойно добавил он.

— Ого! — вырвалось у молчавшего до тех пор Сердцецкого.

Все попримолкли.

— Помилуйте! — даже каким-то плачущим звуком возвысил голос Степан Ильич. — Такая компания пожрет друг друга!

Ревизанов рассмеялся откровенным смехом мистификатора, которому надоело морочить свою публику:

— Так что же? горе побежденным.

XI

Провожая Ревизанова до подъезда, Степан Ильич хвалился:

— Теперь вы к нам зачистите. У нас уж дом такой: кто узнал к нам дорожку, наш будет.

Однако пророчество его не оправдалось. Правда, Ревизанов, на другой же день после обеда у Верховских, сделал визиты, т. е. забросил карточки и Людмиле Александровне, и Ратисовой, но заехал к обеим в такое раннее время, что — видимое дело — рассчитывал не быть принятым. А затем недели три о нем не было и помину.

Он объявился к Людмиле Александровне в одно «после завтрака», прямо с какого-то

заседания, где, как сейчас же похвалился, одержал крупную победу. Победа была, должно быть, действительно очень крупная, потому что Ревизанов был заметно возбужден, и в синих глазах его еще не угасли огоньки, зажженные удовольствием борьбы и злорадством успеха. Он был и зол, и весел, и очень красив. Холеное лицо его разгорелось, ноздри вздувались...

— Простите, что я приехал к вам немножко сумасшедший, — воскликнул он, входя, — но это было презанимательно... я спорил и увлекался, как мальчишка...

Людмила Александровна оставалась дома совершенно одна. Дети были в гимназиях, Степан Ильич — в банке. Когда звякнул звонок, Верховской и в голову не пришло, что это Ревизанов, и она разрешила принимать... Увидав, какого гостя послала ей судьба для разговора t?te-a-t?te [15], Людмила Александровна растерялась. Она сидела пред Ревизановым как в воду опущенная, упорно смотрела на ковер и почти не находила ему ответов. Ревизанов сидел недолго. Прощаясь, он, как бы в рассеянности, задержал руку Верховской в своей руке и посмотрел ей в глаза странным взором... Людмила Александровна почувствовала, что кровь бросилась ей в голову. Оставшись одна, она поспешила к зеркалу. Стекло показало ей лицо, сплошь залитое румянцем...

— Какой нахал! — шептала она, покрывая пудрою разгоревшиеся щеки.

Опять звякнул звонок. Людмила Александровна поспешила в гостиную навстречу новому гостю — и широко открыла глаза от изумления и негодования: пред нею стоял только что уехавший и Бог весть зачем возвратившийся Ревизанов. Он не дал хозяйке высказать свое удивление.

— Простите, Людмила Александровна, — озабоченно и быстро заговорил он, — я прихожу вторично надоедать вам... Но — извольте ли видеть — сейчас на улице я сообразил, что в другой раз вряд ли мне выпадет такой счастливый случай говорить с вами наедине, как сегодня. А поговорить нам решительно необходимо. Э! думаю — была не была! пойду напролом...

— О чем нам говорить? — пробормотала смущенная Верховская. — Я, право, не понимаю... Между нами нет ничего общего.

— Вы позволите мне сесть? — перебил Ревизанов.

— Разве разговор будет длинный? — возразила Людмила Александровна.

— Глядя по обстоятельствам, — невозмутимо сказал Ревизанов. — Нет ничего общего, — начал он, — вы правы, может быть; по крайней мере, правы за себя... Но ведь было же общее, Людмила Александровна, — было! против этого вы спорить не станете... Нет, нет! не вставайте с места и не делайте жестов негодования: выгнать меня вы всегда успеете, — так сперва выслушайте, а потом уже гоните... Ей-Богу, так будет лучше — для вас же. Да — когда будет надо — я и сам уйду. Вы позволите мне курить?

— Если вам непременно нужно какое-то дикое объяснение, — гневно сказала Верховская, — то, по крайней мере, нельзя ли поскорее к делу?

Ревизанов покачал головой.

— Как вы спешите! какой резкий тон! — заметил он с любезною улыбкою. — Знаете ли, это даже нехорошо в отношении старого приятеля. Тем более, что приятель приходит к вам с самыми дружескими чувствами, полный искреннейшего расположения и раскаяния.

Людмила Александровна презрительно усмехнулась:

— К чему слова? Мы старые приятели? Ваше расположение? ваше раскаяние? Смешно

слушать!

— Почему же? — спросил Ревизанов, сделав удивленные глаза.

— Да помилуйте! Ведь это же курьез: повинная человека в грехе восемнадцатилетней давности! Уж очень вы опоздали, Андрей Яковлевич. Вам следовало затеять этот разговор по крайней мере лет пятнадцать назад. Тогда было другое дело: я могла поверить вашему раскаянию и обрадоваться ему. Могла не поверить и проклинать вас за новое коварство, за новую ложь. Теперь же... да это оперетка! это пародия! Неужели вы не понимаете, что теперь странно было бы даже взять труд задуматься над вашим неожиданным объяснением?

— Это — презрение? — спросил Ревизанов, слегка меняясь в лице.

— Нет... просто действие давности.

— Есть, Людмила Александровна, слова и дела, не знающие давности, — значительно возразил Ревизанов.

Верховская взглянула ему прямо в глаза:

— Вот что я вам скажу, Андрей Яковлевич. Если вы в самом деле затеяли этот разговор под вдохновением какого-то раскаяния и нуждаетесь в моем прощении, то — будьте спокойны: вы его давно имеете. Я забыла о вас и вашем дурном поступке со мною. Вы мне чужой, как будто я вас никогда и не встречала. Людмила Рахманова, которую вы когда-то знали и оскорбили, умерла. Людмила Верховская судит ее, как судила бы любую из своих знакомых девочек, случись с ней такое же несчастье. Мне жаль ее, но нет до нее дела.

— Очень приятно слышать, — улыбнулся Ревизанов, — это дает мне надежду...

Людмила Александровна прервала его голосом, дрожащим от волнения:

— Но если мне не надо вашего раскаяния, это, конечно, еще не значит, что я не презираю вас. Мое общество — не для людей, запятнанных подлостью. А с Людмилой Рахмановой вы поступили подло!

Она умолкла. Ревизанов был покоен.

— Ваша гневная речь, — начал он, — меня не удивляет: я ждал ее. Но, признаюсь, она звучит немного странно после панегирика благодетельному действию времени: настолько странно, что я даже не особенно убедился в целительной силе давности, которую вы так одобряете... Позвольте вам предложить один вопрос — конечно, совершенно теоретический?..

В игривом тоне речи Ревизанова, в его учтивой полуулыбке, в почтительном, но самоуверенном взоре, в изысканно-вежливой позе Верховская прочла, под красиво разыгрываемую ролью, серьезную угрозу.

— Раз я допустила этот ненужный и неосторожный разговор, вы вольны спрашивать, что вам угодно.

— Благодарю вас. Итак, у нас имеется praesumptio [16]: Людмила Верховская и Людмила Рахманова — два разных лица. Людмиле Верховской до походов Людмилы Рахмановой и пятнышек на жизни этой милой девочки — нет никакого дела. Хорошо-с. Теперь ответьте мне по чистой совести: если бы кто-нибудь взял да рассказал всему свету историю любви Людмилы Рахмановой и Андрея Ревизанова, как отнесется к этому Людмила Верховская?

— Что это? шантаж?

Людмила Александровна смело взглянула в лицо Ревизанову. Он более не улыбался: щеки его были бледны, взор сверкал сталью.

— Шантаж, — угрюмо произнес он, — обидное слово... но пусть будет даже шантаж! Зовите, как хотите, я не боюсь слов. Ах, Людмила Александровна, пустые речи говорили вы мне о давности, о лечении старых ран благодетельным временем. Полно вам притворяться! Прошлое — власть, и горе тому, кто чувствует ее над собою, чье прошлое — тайная угроза, да еще и в чужих руках.

— Вы хотите показать мне свою власть надо мною?

— Я не говорил пока ничего подобного.

— Слишком ясно и без слов!

— Хорошо, допустим.

— Я не верю в вашу силу.

— Не обманывайте себя: верите!

— Нет и нет. Что можете вы сделать мне? Рассказать наш забытый роман свету? — кто же вам поверит? Да если и поверят, кто придаст значение такой старой истории? Вы даже не испортите мне моего семейного счастья; мой муж слепо верит в меня.

— Тем грустнее было бы ему узнать, что верить не следует, что вы обманули его еще до свадьбы, и — надо отдать вам справедливость — с поразительным искусством продолжали обман целые восемнадцать лет... Верьте мне: чем дольше человек был дураком, — простите за резкое слово, — тем неприятнее ему убедиться в своей... скажем хоть, недогадливости. Что касается света, — конечно, вы правы: девический грешок не будет в состоянии совершенно уничтожить ваше положение в обществе. Много-много, если посмеются задним числом, подивятся, как это холодная целомудренная Людмила Верховская умела отыскивать в своей душе страстные звуки, когда писала к Андрею Ревизанову.

— Ах, эти письма!

— Они все целы, Людмила Александровна, — холодно и веско сказал Ревизанов. — И — раз уже в нашем откровенном разговоре скользнуло такое милое словцо, как шантаж, — то быть по сему: я предлагаю вам выкупить их у меня.

Людмила Александровна широко открыла глаза.

— Я очень рада вашему предложению... — медленно вымолвила она, смягчая голос. — Но чего вы хотите от меня за них?

— Много.

— Не денег же? Вы неизмеримо богаче меня.

— Конечно, не денег. Нет: любви.

— Как?!

Верховская, ошеломленная изумлением, даже привстала с места. Ревизанов продолжал тихим и ровным голосом:

— Сядьте, успокойтесь... Да, я прошу вашей любви, я влюблен в вас — и самым глупейшим образом, как мальчишка. Послушайте, Людмила...

— Как вы смеете! — вспыхнула она.

— Виноват: Людмила Александровна. Я часто бываю в Москве, но все проездом: у меня дела больше за границей и в Петербурге. Удивляюсь все-таки, как мы с вами не встретились до сих пор. Я много слышал о вас, и все хорошее. Верховская — красавица, Верховская — умница, Верховская — воплощенная добродетель. И признаюсь: каждый раз, как слышал, что-то щипало меня за сердце. Красавица, да не твоя! Умница, да ты ее потерял, как дурак, бросил, как петух — жемчужину! Добродетель, да ты надругался над нею, — и она тебя ненавидит и презирает. Наконец я увидел вас в опере, в ложе с Ратисовой. Вы сильно переменились, и я не сразу узнал вас, но влюбился еще прежде, чем узнал. Увидел и тогда же решил в уме своем: эта женщина должна быть снова моею, или я возненавижу ее и сделаю ей все зло, какое только может сделать человек человеку. Это у меня всегда так: кого я очень сильно люблю, того и ненавижу. Ха-ха! что-то мужицкое: кого люблю, того и бью.

Людмила Александровна слушала и терялась, что думать, чего еще ждать, как отвечать. Дело приняло совсем необыкновенный оборот; странность положения была бы почти смешною, если бы не чересчур страстный и сильный тон слов Ревизанова.

— Это бред какой-то... Вы с ума сошли! — воскликнула она. — Вот уж всего я ждала, только не этого!

— Да? — Ревизанов засмеялся. — Значит, так и запишем в книжку: Андрей Ревизанов объяснился в любви Людмиле Верховской, а она прогнала его прочь. Но я не послушаю вас и не пойду прочь, потому что вы прогнали меня необдуманно и в конце концов полюбите меня.

— Никогда!

— Переменим выражение: будете принадлежать мне.

— А!.. негодяй! — вырвалось у Верховской. Она дрожала от бешенства. Лицо ее пылало красными пятнами. Глаза метали молнии.

Ревизанова передернуло, но он совладел с собою:

— Опять резкое слово. Ну, хорошо, негодяй! Так что же? И негодяй может быть влюбленным. Скажу даже больше: влюбленный негодяй — зверь весьма интересный, Людмила Александровна, займитесь изучением: я познакомлю вас с этим типом. Влюбленный негодяй, например, просит любви только один раз, но, отвергнутый, не отступает, а требует ее, берет хитростью, силой, покупает, наконец...

— И вы зовете это любовью?

— Что же делать, Людмила? Будь я не негодяй, как вы обозвали меня, может быть, и любовь моя была бы иною, но я — негодяй, значит, мне и не к лицу любить иначе. Ваша честь в моей власти. Если хотите, я продам вам вашу честь.

— Боже мой! есть ли в вас стыд, Ревизанов?!

— Одно свидание, один час у меня, наедине со мною, по-старому, как восемнадцать лет назад, — и вы получите все ваши письма. А без этой улики я бессилен против вас: бездоказательное обвинение разобьется о вашу репутацию. Меня примут либо за

подлейшего из клеветников, либо за сумасшедшего... Один час, один только час... Что же?

Людмила Александровна глядела на него безумными, почти суеверно-испуганными глазами.

— Дьявол вы или человек? — прошептала она. — Я не знаю... мужчина не решился бы предлагать такую отвратительную подлость женщине, которую любил когда-то...

— Когда-то я не любил вас, Людмила, но лишь забавлялся вами; а вот теперь люблю! Да, люблю... Вот! вот! — взгляните на меня еще раз таким мрачным взглядом!.. Люблю вас за это гневное лицо оскорбленной Юноны, за этот огненный презрительный взгляд, за это тело, рожденное для сладострастия и не знающее его, за вашу ненависть ко мне. Конечно, я не Тогенбург, я не стану вздыхать под вашими окнами или писать вам стихи... Платонизм — не по моей части, да и вы не девочка, чтобы верить в их фальшь. Но я никогда не верил в силу мечты, а теперь познаю ее. Мои думы, мои сны полны вами. Вы ненавидите меня, а мне приятно быть с вами; каждое ваше слово — дерзость, а для меня оно — музыка. Но полно распространяться о любви: каким соловьем я ни пой, вы уже не влюбитесь в меня, а принадлежать мне вы и без того будете!..

По щекам Людмилы Александровны давно катились горькие слезы. С тех пор как она сознала себя беззащитною в руках Ревизанова, гнев на оскорбление исчез: его сменили стыд, страх и беспомощная обида.

— Сжальтесь надо мною! — прервала она Ревизанова, задушив рыдания. — Я с трудом сдерживаю себя; если вы продолжите свои объяснения, я кончу истерикой. Неужели это также входит в ваши расчеты?

Ревизанов встал:

— О, нет, никак! Я не смею задерживать вас. Но надо же выяснить наши отношения. Последний вопрос — отвечайте на него без лишних слов и оскорблений: согласны ли вы быть моею?

— Нет!

— Это окончательный ответ? Подумайте!

— Нет, нет и нет!

— Тогда выслушайте и мое последнее слово. Я даю вам неделю срока. Сегодня воскресенье, — если в следующую субботу я не увижу вас у себя, то ваши письма получат огласку.

Людмила Александровна взялась за голову: смертельная тоска схватила в клещи ее сердце...

— В какую пропасть я попала! — стонала она.

Ревизанов продолжал холодно и беспощадно:

— Сперва над этими письмами посмеется кружок веселой золотой молодежи, потом они дойдут до Степана Ильича. Хотя он и верует в вас, как в Бога, но вещественным доказательствам — вашим письмам, чувствительным надписям вашею рукою на фотографических карточках он тоже поверит. Пусть простит он вам ваш обман. Я знаю вашего мужа: он мягок, слишком мягок... Но вряд ли уверенность, что вы надругались над его именем, прежде чем получили право носить это имя, будет способствовать продолжению вашего супружеского счастья.

— Да, вы сильны, вы очень сильны, — шептала Верховская, бессмысленно смотря перед

собою окаменелыми глазами, — я вас боюсь...

— Затем: у вас есть сын. Родился он в половине года, следующего за тем, как мы расстались столь драматически... Что, если я явлюсь с вашими письмами к вашему сыну и скажу ему: «Я твой отец»? Пусть я не докажу своих слов, но ведь и вам нечем опровергнуть мое обвинение до полной доказательности. Значит, сомнение-то я все-таки брошу в вашу семью: и отец, и сын должны будут одинаково прислушаться к моему голосу... Говорят, у вас в семье рай земной. Ну, тогда, конечно, раю конец: ад начнется! Ах, Людмила Александровна! остерегитесь! пожалейте мальчика! поверьте мне: словцо «незаконнорожденный» достаточно длинно, чтобы одним подозрением отравить человеку целую жизнь.

— Я вас боюсь, я вас боюсь... — шептала она.

— Так как же? — тихо спросил он, после долгого молчания.

Она смотрела, точно только что проснувшись.

— Не знаю я совсем сбилась с толку... право, не знаю, что вам отвечать...

— Я буду считать ваши слова за согласие, — холодно сказал Ревизанов.

— Нет! нет! — с ужасом воскликнула Верховская. — Ради Бога, нет... Я должна подумать... Не отнимайте у меня хоть этого права.

— Как угодно. Неделя срока — в вашем распоряжении. В субботу я буду ждать до двенадцати часов ночи. Карточку с моим адресом позвольте вам вручить... До свидания...

Он поклонился и вышел.

XIII

Если человеку завязать глаза, ввести его в темную комнату и, покрутив его вокруг себя за руки, потом снять с него повязку, он, хотя бы комната была его собственным кабинетом, теряет представление об ее пространстве и, думая идти к письменному столу, упирается в зеркало; воображая переступить порог, больно ушибает колено о книжный шкаф и т. п. Тьма одуряет его, сбивает с толку. В такую сбивчивую, полную ошибочных представлений и досадных призраков тьму поверг Людмилу Александровну разговор с Ревизановым. В уме ее быстрым потоком бежали мысли самозащиты, но все пугливые, неясные, спутанные, и на сердце лежал камень.

«Этот человек — точно колдун, — думала она с содроганием, — он вынул у меня что-то из головы, и все пошло в ней кругом, без порядка, без самоотчета...»

Главное, она никак не могла разобраться: насколько действительно и опасно обвинение, повисшее над ее головою. То казалось, что она совсем пропала, безвыходно и безнадежно, то — что и бояться нечего, и опасности никакой нет и не было, и угрозы Ревизанова — не более как дерзкое хвастовство нахального человека, рассчитанное на впечатлительные женские нервы.

«Я женщина, — соображала она, — Ревизанов запугал меня, — вот воображение и разгулялось, и пошло строить Бог весть какие мрачные воздушные замки, а на самом деле они — карточные домики!.. Чего бояться?.. Как искусно ни представит Ревизанов обществу свой гадкий план, он все-таки остается шантажом. Шантаж — орудие страшное, но

обоюдоострое. Общественное презрение клеймит шантажиста еще глубже, чем его жертву. Есть ли расчет Ревизанову, в его блестящем, видном положении, замарать вместе с моим и свое имя? Ведь не думает же он, что — доведенная до позора и отчаяния, когда мне нечего будет терять — я все-таки пощажу его и не обличу в свою очередь в глазах света всей его подлости, всех его наглых вымогательств?!»

Во вторник Иаков Иосафович Ратисов справлял день своего рождения. Верховская чувствовала себя совсем нездоровою, однако надо было ехать к Ратисовым и встретиться у них с Ревизановым, — как знала Людмила Александровна, — приглашенным Олимпиадою Алексеевною к обеду.

«Непременно приедет! — злобно соображала Верховская. — Не пощадит... С тем и приедет, чтобы посмотреть, в каком я настроении, — вовсе покорена или еще сопротивляюсь?»

Ревизанов действительно обедал у Ратисовых и остался на вечер. Однако Людмила Александровна ошиблась: на этот раз он не хотел ее мучить — раскланялся и затем мало что не замечал ее весь вечер, но даже сам как будто уклонялся попадаться ей на глаза, старался как можно меньше утомлять собою ее внимание. У Ратисовых было очень шумно. Синев был в духе и все дразнил юношу — сына Людмилы Александровны. Митя переваливал из подростков в молодые люди, — и комическая смесь в этом хорошеньком мальчике детской наивности и уже мужских манер смешила до упаду Петра Дмитриевича и Олимпиаду Алексеевну, которую Митя втайне обожал, как только может обожать семнадцатилетний мальчик красивую родственницу бальзаковских лет.

— Знаешь ли, Митя, что я тебе, в некотором роде, бабушка? — изумлялась сама на себя Ратисова.

Синев комически запел:

— Жил-был у бабушки

Серенький козлик...

Остались у козлика

Рожки да ножки!

— К чему это ты?!

— К просвещению юношества, — трунил Синев, — надо же предостеречь молодого человека, что бывает с козликами, у которых есть такая бабушка!

Митя конфузился и краснел: юное воображение, давно уже и сильно занятое великолепною Олимпиадою, привело его в последние дни к тому трагикомическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только совсем зеленым мальчикам, — когда не знаешь: не то уж очень любишь женщину, не то терпеть ее не можешь, мечтаешь о ней и дичишься ее, видишь ее каждую ночь во сне, а наяву, завидев ее издали, переходишь на другую сторону улицы, чтобы только не раскланяться с нею... Синев видел состояние юноши и — по страсти к зубоскальству, которым был хронически одержим, — издевался над ним неистово, когда мог рассчитывать, что Людмила Александровна не услышит. Она не любила, если Митю дразнили вообще, а уж в особенности на любовные темы.

— Вбиваете Бог знает что в голову семнадцатилетнему мальчику! Ему рано и думать о таких

пошлостях, — сердилась она. — Вам с Липою смешки, а он волнуется... Я вот перестану его пускать к Ратисовым! Я заметила: как он побывает у Липы — на другой день обязательно принесет двойку из гимназии... И, главное, кто бы дразнил!.. Сами-то вы, Петенька, давно ли обсушили молоко на губах? Я еще не забыла, как вы воровали у меня ленты на память... да и у Липы тоже!

— Было! — сокрушенно восклицал Синев и оставлял Митю в покое, до первого нового искушения.

Олимпиада Алексеевна была уже в том возрасте, когда подобное полудетское ухаживание особенно льстит и нравится.

— Тетушка, — шептал ей Синев, — Митяй смотрит на вас исподтишка. Ну-ка, поддайте ему жару!.. Метните парфянскую стрелу!..

— Ах, какой ты дурак! — смеялась Олимпиада Алексеевна, но тем не менее бросала на юношу такой томный взгляд, что Митя не знал, куда ему деваться, и искренно жалел, что паркет не разверзается под его ногами и не поглощает его, как оперного Демона.

А Синев хохотал:

— Тетушка! Вы не Олимпиада! Вы Иродиада!

— Это почему?

— Младенцев избивать стали!

— Да отстань же ты от меня! — кричал Митя на своего мучителя, доведенный до полного иступления. — Все твои выдумки и насмешки! Я и знать-то ее не хочу, и совсем она мне не нравится... Ты все врешь на меня! врешь! врешь! врешь!

Синев с невозмутимостью поучал:

— Во-первых, ты невежлив со своим добрым, старым дядею, — замечаешь ли ты это, о школьник? А во-вторых, врешь-то ты, а не я. Нас, брат, на мякине не проведешь: мы старые воробы. И от судьбы своей также не уйдешь. И верь мне, как турка Магомету: никто другой, как Липа, и есть твоя Судьба. Вы, молокососы, самой природой устроены и предназначены для развлечения таких сорокалетних пожирательниц мужчин, в промежутке, когда у них день прошел, а вечер не наступил. Поэтому советую приготовиться к капитуляции: пиши в честь ее стихи, воруй ее ленты и носовые платки, выпроси на память прядь ее золотых... гм, гм! с серебрецом кудрей и прочая и прочая, и да будет над тобою благословение любящего тебя дяди!

Сегодня мальчик что-то хмурился, и Синев пристал к нему, уверяя, будто он не в духе оттого, что Олимпиада Алексеевна слишком ухаживает за Ревизановым...

— А на тебя, Митька, — нуль внимания...

— Ну и отлично! ну и очень рад! и оставь меня... — бормотал юноша. — Тебе только бы дразниться!

— Однако сознайся, ты не в духе.

— Хотя бы и не в духе!

— Отчего?

— Что тебе за дело?

— Не отстану, пока не скажешь...

— Ах, Господи! да просто так!

Синев с важною грустью качал головою:

— Мне «так» мало. Это не ответ, но абракадабра. В твои годы слово так переводится на русский язык двояко: или кол за Цицерона, или огорчение в нежных чувствах. Ну! кто виноват: Марк Туллий или тетя Липа?

— Ах, дядя! — вырвалось у Мити, — как можно надо всем смеяться? есть же, наконец, чувства...

— Ага, уже есть чувства! Bravo, Митя! мне только того и надо было... Тетушка, пожалуйста сюда: у Мити завелись чувства, которые он желает вам изъяснить...

— Дядя Петя! Я тебя убью!

— Не стоит, Митяй. Убивать, так уж кого-нибудь другого. Замечаешь? Я зову, а она даже не слышит. Прицепилась репейником к своему Ревизанову...

— И что она в нем нашла? — горестно вздыхал Митя. — Только что капиталист.

— Да. А ты — только что гимназист. В том, главным образом, между вами и разница. И вот что скверно: замечено учеными, что женщины гораздо чаще предпочитают капиталистов гимназистам, чем наоборот. Знаешь что? Вызовем-ка его на дуэль?

Митя смотрел маленьким Наполеоном и отвечал:

— А ты думаешь, я не способен?

Втайне Синев находил, что — вполне способен. Мальчик был романтический и яркий. Еще в третьем классе гимназии он убежал было из дома в Америку, к индейцам. Ушел недалеко: нагнали и сцапали его, раба Божия, за Тверской заставою, но он встретил погоню как врага, защищался, как тигренок, и даже пустил было в ход оружие: пырнул товарища, выдавшего план бегства, перочинным ножом.

— Вот ты все надо мной смеешься, — изъяснял он как-то раз Синеву в дружескую минуту, когда тот был в кротком настроении духа и не очень травил его. — А я... я даже Добролюбова читал. Ей-Богу. И все понял. Хоть весь класс спроси. Уж я — такой. Я могу понимать: у меня серьезное направление ума. Ты дразнишь меня, что я влюблен там и прочие глупости. А я — такой: любовь для меня величайшая надежда и сила. Я не умею шутить любовью. У меня чувства. Я не понимаю легких отношений к женщине.

— То-то ты смотришь на тетушку Липу таким сконфуженным быком.

Но Митя не слушал, задумчиво смотрел в пространство и твердил:

— Я ведь в маму родился... Люблю папу, но я не в него, а в маму... Я, коли что, — на всю жизнь. У меня это просто. Весь класс знает...

— Ты что же, Олимпиаду-то на необитаемый остров увлечь, что ли, собрался? Так не поедет, поди... А любопытно бы посмотреть тебя Робинзоном, а ее Пятницею. Впрочем, какая же она Пятница — целая Суббота!

Юноша горько улыбался, презрительно пожимал плечами и декламировал из «Горя от ума»:

— «Шутить и век шутить — как вас на это станет?»

Другую постоянной жертвою, отданною на произвол Синева, являлся супруг Олимпиады Алексеевны — Иаков Иоасафович, с его почти маниакальною страстью к истинно стенобитным каламбурам, шарадам, юмористическим стихам...

— Поедьте, Иаков Иоасафович, пообедать в новый ресторан: говорят, хорошо кормят, — приглашает Ратисова приятель, а Иаков Иоасафович ошеломляет его в ответ:

— Почему же в ре-сто-ран, а не в до-двести-язв?!

Однажды Синева, заспорив о чем-то с Олимпиадою Алексеевною, воскликнул:

— Бог с вами, тетушка! «Переключала ты меня, премудрая Ольга», как говорил, попав впросак, один греческий царь... Я уступаю и отступаю...

Он попятился и отдал ногу стоявшему прямо за ним Ратисову.

— Ох, — застонал этот, — если это называется у вас отступить, то каково же вы наступаете?

— Виноват, дядюшка.

— Бог простит, — со снисходительным величием извинил добряк и таинственно подмигнул.

— А каламбурчик заметили?

— Прелесть! — восторженно воскликнул Синева. — Вы всегда такие родите или только когда вам наступают на мозоль?

— У меня юмор брызжет!

— Вы бы в юмористические журналы писали? а?

Ратисов замигал еще таинственнее:

— Пишу,

— Ой ли? — восхитился Петр Дмитриевич. — И ничего, печатают?

Иаков Иоасафович самодовольно подбоченился:

— С благодарностью.

— Скажите!

— Ценят. Вы, говорят, ваше превосходительство, юморист pur sang, а нравственности у вас — что у весталки. Вы не какой-нибудь борзописец с улицы, а патриций-с, аристократ сатиры. Эдакого чего-нибудь резкого, с густыми красками, слишком смешного, но семейного у вас — ни-ни!

— Под псевдонимцем качаете?

— Разумеется. «Действительный юморист» — это я. Я было хотел подписываться: «Действительный статский юморист», эдак слегка намекнуть публике, что я не кто-нибудь, не праздношатающий бумагомаратель, но цензура воспретила, оставила меня без статского... Знаете: детей оставляют без сладкого, а меня без статского... Мысль! позвольте карандашик: запишу, чтобы не забыть, и разработаю на досуге.

Синева, конечно, не замедлил разболтать этот разговор Олимпиаде Алексеевне, и с тех пор

бедному каламбуристу не было житья от жены: она походя дразнила его то действительным статским юмористом, то действительною статскою весталкою.

XIV

Степан Ильич Верховский принадлежал к числу тех добрых, но ограниченных людей, кому, если западет в ум какая-нибудь идея — хорошая, дурная ли, — то становится истинным их несчастьем: они никак не могут выбить ее из головы и носятся с нею, как курица с яйцом. Ревизанов очень нравился Степану Ильичу, и в то же время, по честности и доброте своей, старик был возмущен до глубины души убеждениями, высказанными блистательным капиталистом в разговоре их на обеде у Верховских. Разговор этот не давал покоя Степану Ильичу, и он не раз с тех пор возвращался к этим темам в своем семейном кружке.

— Нет-с, каков век! каковы стали субъекты появляться! — воскликнул он. — Симпатичный, порядочный человек, корректный общественный деятель, благодетель громадного рабочего округа, — и совершенно разбойничьи убеждения!.. Царство страсти! Страсть — главный императив человеческого существования! Да ведь это — хаос, это — конец цивилизации-с... Ци-ви-ли-за-ции!!! Митька! если ты когда-нибудь заразишься подобными взглядами, я... я лучше в могилу сойду, чтобы глаза мои тебя не видали! Долга не признавать, общественных начал не чувствовать... Господи, да как же жить-то без этого?.. В отчаяние прийти можно: неужели мы жили, работали, идеальничали для того лишь, чтобы народились на свет такие страшные люди и принесли в мир такое звериное учение?

Когда Ревизанов остался у Ратисовых на вечер, Верховский так в него и вцепился. Андрей Яковлевич защищал свое «царство страсти» шутя и, по обыкновению, немножко свысока... Синев вмешался. Он с начала вечера косился на Ревизанова.

— Все это прекрасно, Андрей Яковлевич, — протяжно сказал он, — теории можно разводить всякие, и, на мой взгляд, Степан Ильич напрасно столько горячится из-за ваших шуток...

Ревизанов поднял брови.

— Шуток? — возразил он.

— Разумеется, шуток. В ваших устах анархические теории звучат шуткою больше, чем в чьих-либо других.

— Ах, вы вот куда метите! — Ревизанов засмеялся. — А знаете ли, Петр Дмитриевич, я уже не раз задумывался над этим странным для вас совпадением взглядов.

— И?

— И пришел к убеждению, что оно вовсе не странно. Взгляды совпадают, потому что совпадают цели. Только средства разные, а в сущности, и капиталист, как я, и анархисты заняты одним и тем же делом: разрушают ваше общество и уничтожают вашу цивилизацию.

— Ого!

— Да, да! Анархист работает во имя отвлеченных идеалов уравнения человечества; капиталист работает на свой собственный карман, а толк-то один и тот же. Если не в идейных целях, — это я вам уступаю, — то в практических конечных результатах. Они же выражаются в короткой теореме: «Чтобы сравнять общество, надо уничтожить его современный строй, возвратить его к первобытным образцам». Затем разница лишь в способах доказательства

теоремы: в средствах. Анархист хочет уравнивать всех, опрокинув мир к первобытной дикой свободе. А на взгляд капиталиста, удобнее уравнивать людей, возвращая их понемногу в первобытное же состояние рабства. И так как полной свободы и равенства никогда нигде нет, не было и не будет, то всегда тот, кто будет равнять общество, будет и его повелителем. Если он станет на первое, повелевающее место во имя анархических теорий свободы — он повелитель-обманщик; если он равняет общество, поработывая его для себя, он лишь последовательный деспот. Вот и все.

— Софизмы! софизмы! и слушать не хочу: изношенные софизмы! — закричал Степан Ильич.

Синев молчал.

— Пока ваше царство страсти, — начал он, — остается в мире теории, еще куда ни шло, нам, обыкновенным смертным, можно с грехом пополам жить на свете. Но скверно, что из этой теоретической области то и дело проскальзывают фантомы в действительную жизнь...

— А вы их ловите и отправляйте в места не столь и столь отдаленные, — возразил Ревизанов. — Это ваше право.

— Сами вы говорили давеча, что всех не переловишь.

— А не поддаваться — это их право.

— Иного и схватишь, — нет, скользок, как угорь, вывернется, уйдет в мутную воду. Закон — дело рук человеческих, а преступление, как изволите вы совершенно правильно выражаться, дело природы. Закон имеет, следовательно, рамки, а преступление нет. Закон гонится за преступлением, да не всегда его догоняет.

Он задумался и бросил на Ревизанова странный взгляд.

— Да вот вам пример: вчера я слышал одну историю... попробуйте-ка преследовать ее героя по закону.

— Если что-нибудь страшное, — крикнула через комнату Олимпиада Алексеевна, отрываясь от разговора с Митей, — не рассказывай: я покойников боюсь.

— Дело на Урале, — начал Синев.

— Знакомые места, — отозвался Ревизанов.

— Герой — местный Крез, скучающий, хотя и благополучный россиянин... из любимого вами, Андрей Яковлевич, типа людей страсти и личного произвола.

— Проще сказать: самодур, — вставил Верховский.

— Только образованный, заметьте, — поправил Петр Дмитриевич.

Ревизанов насмешливо смотрел на них обоих:

— Есть там такие. Ну-с?

— Скучал этот Крез, скучал, да и надумался, развлечения ради, влюбиться в некоторую барыньку, — заметьте! жену довольно влиятельного в тех местах лица... Барынька оказалась не из податливых. Крез поклялся, что возьмет ее во что бы то ни стало, и начал орудовать, — да ведь как! Супруг упрямой красавицы до тех пор отлично шел по службе, а теперь вдруг, ни с того ни с сего, запутался в каких-то «упущениях», попал под суд и вылетел в отставку с запачканным формуляром; в обществе пошли гадкие слухи о поведении молодой женщины,

и, что всего страннее, произошло несколько случаев, подтасовавших как бы некоторое подтверждение грязным толкам. Репутация несчастной была убита, семейная жизнь ее превратилась в ад, знакомые от нее отвернулись, муж вколачивал жену в гроб несправедливой ревностью, родные дети презирали мать, как развратную тварь...

— Ах! — раздалось болезненным стоном от полутемного — за трельяжем — угла, где в качалке приютилась Людмила Александровна.

— А?.. что?.. — встрепенулся Синева. — Это вы, кузина?

Людмилу Александровну окружили. Но она, почти с досадою, что сделалась предметом общего внимания, просила оставить ее в покое.

— Это ничего... не обращайтесь на меня внимания: так... приступ мигрени... мигрени...

— Ну, а конец-то, — торопила Синева Олимпиада Алексеева, — конец-то твоего романа? Начало — хоть бы Габорио.

— А конец, тетушка, хоть бы Зола. В один прекрасный вечер, горемычная барынька, после ужасной семейной сцены, ушла, в чем была, из дома и постучалась-таки... к Крезу!

— Что и требовалось доказать, — вполголоса закончил Ревизанов, как бы и с дружелюбною даже насмешкой.

Прошла полоса молчания.

— Вот видите, Андрей Яковлевич... — поучительно и торжествуя, заговорил Степан Ильич.

Ревизанов перебил его:

— Виноват. Позвольте, господа! чего вы от меня хотите? Чтоб я осудил этот поступок? Осуждаю... Но ведь я и не утверждал, что люди страсти — хорошие люди. Я только говорил, что это люди, которые хотят быть счастливыми, умеют брать с бою свое счастье и ради его на все готовы...

— На все?

Людмила Александровна поднялась с места с болезненным и растерянным видом, точно хотела заговорить и не решалась.

— Я раньше слышал вашу историю, Петр Дмитриевич, — продолжал спокойно Ревизанов, бросая впервые за весь вечер внимательный взор на Верховскую, — и хорошо знаю ее не названного вами героя...

— Медный лоб! — прошептал Синева, против воли опуская глаза.

— Это действительно упрямый и страстный человек... Виноват! вы что-то хотели сказать, Людмила Александровна, и я помешал вам?

— Я хотела спросить, — слабо сказала она, — а совесть?.. совесть упрекает его хоть когда-нибудь?..

Ревизанов задумался; потом, отразив ее печальный и ему одному понятно моливший о пощаде взгляд блестящим и решительным взглядом, коротко ответил:

— Не думаю.

Всем было не по себе. Все чувствовали, что нельзя продолжать разговора. Атмосфера

насыщена электричеством, почва общих рассуждений и примеров истощена, назревает экзамен личностей, стычка, злоба и ссора. Олимпиада Алексеевна, золотой человек в таких трудных случаях, выручила.

— Скучная твоя история, Петя! — воскликнула она. — Я думала, он ее убьет, или она его, или муж их обоих.

Синев отозвался:

— Да вы же покойников боитесь?

— Я только утопленников, да и то, если в воде долго пробыл, а когда револьвером — ничего, даже интересно.

— Жест красив?

— Вот именно!

Мужчины подхватили, и буря разошлась без молнии и грома — сперва безразличную болтовнёю, потом винтом.

XV

Если бы Петр Дмитриевич знал, что он делает своими рассказами! Весь панический ужас, с таким трудом вытесненный было Людмилою Александровною из своего сердца, теперь возвратился и стал за ее плечами грозным и повелительным призраком.

«В чьих я руках! в чьих руках! — думала она, — конечно! я побеждена заранее — прежде чем начать борьбу!»

Ревизанов вырос в ее воображении, как грозный, почти фантастический колосс с житейского зла, пред которым сама она казалась себе маленькой и бессильною, как карлица.

«Повиноваться! повиноваться, не рассуждая!» — стучало в ее мозгу, когда, возвратясь от Ратисовых, она осталась одна и, с пылающим лбом и ледяными руками, ходила взад и вперед по своей темной спальне, — а рядом с нею как будто ходил невидимый образ ее врага и тихо шептал ей:

— Выбирай: повиновение и вечная тайна или моя беспощадная месть! Ты слышала, как я говорил: теперь ты знаешь, как я действую. Хочешь ты испытать, как разгневанный муж в бешенстве отталкивает развратную жену; а она, обнимая его колени, напрасно плачет и молит о пощаде? Хочешь ты услышать позорную брань из уст твоих же собственных детей? Они придут к тебе и, негодуя, спросят: «Чьи мы дети?» — Что ты им скажешь? чем их разуверишь? Твоя правда будет ложью для них... и они проклянут тебя. Дома честных и воображающих себя честными людей закроются для тебя, и тогда — все равно: у тебя не будет прибежища, кроме смерти или моей спальни!

— Дети мои!.. Я так вас любила! — шептала Верховская, ломая руки.

В ее уже немолодые годы у нее почти не оставалось ни забот, ни интересов вне детской жизни. Им принадлежали все ее мысли, все время. По всей Москве говорили:

— Вот Людмила Александровна Верховская — это мать. Умела вырастить деток. Прелесть что за молодежь: здоровые, красивые, умные, честные...

Она с гордостью могла сказать, что действительно воспитанием своим дети обязаны исключительно ей, неразрывно проживающей с ними душа в душу каждый день их — от самой колыбели. Она торжествовала, наблюдая, как ее влияние постепенно отражалось на их характерах. И теперь бросить этих детей на полдороге? И к_а_к бросить! — показав им, что та, кто учила их добру, чести, истине и долгу, сама была лицемеркою и прятала под искусною личиною живое противоречие своим громким красивым словам! Она учила добру и не делала, как учила. Значит, она лгала. Если лгала учительница, разве не покажется детям ложью и самое учение? Разберут ли они, что у правого божества может быть грешный слугитель?

Мать лицемерка и лгунья! — какая отравка вливается в детское воображение этими четырьмя словами! Нет порока, более противного детям, чем лицемерие. Людмила Александровна вспомнила, как Лида и Леля негодовали недавно на Олимпиаду Алексеевну, когда она, встретясь у Верховских с Еленою Львовною Алимовой, осыпала последнюю лестью, ласками и поцелуями, между тем как накануне честила ее за глаза и «ханжой», и «злюкой» и уверяла, будто при жизни покойного Александра Григорьевича Рахманова Елена Львовна заедала ее век. Вспомнила сверкающие глаза и гневный голос Мити, когда он, возвратясь из гимназии, рассказывает о какой-нибудь несправедливости инспектора или классного наставника, о фискалах-товарищах, о подлизах к начальству. Вспомнила, как его — хорошего ученика — чуть не исключили за то, что при одном гонении на курильщиков он, сам некурящий, отказался назвать, кто курил.

— Но, Верховский, берегись! — пригрозил, инспектор. — Я уверен, что вы знаете, кто курил! Ведь знаете: говорите правду!

— Знаю, — откровенно отвечал мальчик. — Знаю, да не скажу.

Пошел в карцер, добыл сбавку балла за поведение, но — «знал, да не сказал!».

Кто так храбро и самоотверженно ненавидит ложь и обман, — наученный этой ненависти тайною лгуньей и обманщицей, — какое страшное разочарование ждет его, когда она снимет маску!.. Как должен он будет разувериться в правде света, как станет презирать и ненавидеть наставницу-фарисейку... презирать и ненавидеть родную мать!

— Нет! я должна спасти себя от презрения детей! — размышляла Людмила Александровна под невыносимую стукотню своих висков. — Должна спасти их от ненависти ко мне. Если человеку противна родная мать, что же уважать остается ему на свете?!

— Я повинуюсь Ревизанову. Пусть я стану еще порочнее и хуже, но зато лишь пред самой собой. Моя семья останется приютом явной добродетели и семейного счастья, а за мои тайные грехи ответит моя душа. Будь что будет! Пусть хоть убьет меня мой стыд, лишь бы втихомолку, чтобы не вырвалось ни жалобы, ни даже одного подозрительного слова, чтобы я ушла от людей чистою, как слыла между ними, чтобы дети мои поминали мое имя с гордостью, а не с отвращением. Мною держится мой домашний очаг. Он дает тепло и свет слишком многим. Я не имею права его разрушать. Я повинуюсь.

XVI

Андрей Яковлевич Ревизанов получил по городской почте письмо — на тонкой голубой бумаге, без подписи, но почерк, хотя измененный годами, был ему знаком. Едва взглянув на конверт, он радостно изменился в лице...

— От кого это голубое письмо? — ревниво спросила сидевшая с ним за завтраком красивая черноволосая женщина.

— Деловое, Леони, — небрежно бросил ей Ревизанов.

— Да? Покажи!

Она протянула руку. Ревизанов слегка ударил ее бумагой по пальцам и спрятал голубое письмо в карман. Леони залилась румянцем.

— Ах, извините! Я не знала...

— Так знай.

— Буду знать.

Ревизанов взглянул на часы:

— Тебе не пора ли в цирк?

— Я тебе мешаю? — возразила Леони ревнивым вопросом вместо ответа.

— Нисколько... Я рассчитывал провести с тобою часок-другой после завтрака, потому что совершенно свободен. Могли бы прокатиться в Парк, что ли, или в Сокольники. Погода чудная. Путь — как скатерть, снег — серебро. Но ты сама говоришь, что у тебя дневное представление. Что тебе за охота — баловать своего директора, соглашаться на два номера в сутки? Довольно с этого итальяшки и вечеров...

— Сборы плохи. Я все-таки привлекаю немножко публику, а без меня — совсем швах.

Ревизанов презрительно улыбнулся:

— Правило товарищества?

— Да, знаешь, мы, цирковые, дружный народ.

— Ну и платись за дружбу: половина второго... Даже кофе не успеешь выпить.

— Нет, ничего. Я скачу в третьем отделении, предпоследним номером... Имею по крайней мере двадцать минут в запасе.

— Как знаешь.

— А ведь я было думала, — начала Леони с заискивающей и фальшивой улыбкой усмиренной ревности, — ты гонишь меня потому, что это голубое письмо назначает тебе свидание с какою-нибудь дамой.

— Очень мне надо знать все глупости, которые ты думаешь! — пробормотал Ревизанов.

Она продолжала:

— Этот деловой документ необыкновенно похож на письмо от женщины.

— Ты находишь?

— От кого эта записка?

— Это не твое дело, Леони! — коротко отрезал Ревизанов.

Наездница вспыхнула и прикусила губу.

— Знаете, мой милый, — насмешливо протянула она, — вы становитесь не слишком-то любезны в последнее время.

— Может быть! — последовал равнодушный ответ.

Под матовую кожу Леони гневно заиграли мускулы.

— Я не знаю, чем это милое настроение вызывается у вас, — сдерживаясь, продолжала она тем же насмешливым тоном, — может быть, у вас дела нехороши, может быть, вы влюблены неудачно... Но, во всяком случае, я не желаю быть предметом, на котором срывают дурное расположение духа. Я к этому не привыкла.

Ревизанов зевнул с холодной скукою:

— Не трещи... надоела!

Леони вскочила, сверкая глазами:

— Я запрещаю вам говорить со мною в таком тоне!

Леони никто еще не говорил, что она надоела.

— Ну, а я говорю.

Наездница топнула ногою, хотела разразиться градом брани и, вместо того, залилась слезами.

— Это гнусно, гнусно так обращаться с женщиной! — рыдала она.

— Да полно, пожалуйста! что за трагедия? Я никак с тобою не обращаюсь: ты беснуешься и ругаешься, а я нахожу, что это скучно, — вот и все.

— Если вам скучно со мною, — вспыхивала Леони, — отпустите меня, разойдемся... Не вы один любите меня, я найду свое счастье с другим...

— С другими, Леони, с другими, — надо быть точнее в выражениях, — засмеялся Ревизанов.

Леони горько покачала головою:

— Вы никогда не любили меня, если можете шутить со мною так обидно!

— Разумеется, никогда, Леони. Кажется, у нас, когда мы сходились, и разговора об этом не было... И не могло быть: откуда? А ты разве любила меня и любишь? Вот была бы новость!..

Наездница все качала головою.

— Нет, нет, нет... этой новости вы не услышите, — говорила она с гневной иронией смертельной обиды, — я вас, конечно, и не люблю, и не уважаю... вы для меня просто денежный мешок, откуда можно брать горстями золото... не так ли?

Ревизанов пожал плечами:

— Не знаю, как по-твоему; по-моему, так. Да я ни на что больше и претензий не имею. Какая там любовь? Зачем? Я плачу и не жалею. Ты очень красивая и занимательная женщина...

— А главное, в моде, — насмешливо перебила Леони. — Так приятно ведь, чтобы обе

столицы русские кричали о вас: вот Ревизанов, который отбил знаменитую Леони у князя Носатова...

— Не скрываю: и это не без приятности, — согласился Ревизанов.

Леони злобно засмеялась:

— Вот этой-то славы у вас и не будет больше! и не будет! как не будет самой Леони... Кусайте себе тогда локти!.. и утешайтесь вон с этою, которая пишет вам письма... виновата, деловые документы — на голубой бумаге.

Ревизанов устремил на нее ленивый взгляд.

— Будет другая слава, — сказал он, — и гораздо более пикантная... Станут говорить: вот Ревизанов — знаете, тот самый, который выгнал от себя знаменитую Леони...

Наездница выпрямилась, как стрела, готовая сорваться с тетивы.

— Lache!.. [17] — крикнула она.

— Пошла вон!.. — раздался тихий ответ, и синие глаза Андрея Яковлевича приняли такое выражение, что Леони попятилась, как львица от укротителя. Она, бормоча невнятные угрозы, вышла в спальню Ревизанова, но скоро возвратилась, уже одетая к выходу, в шапочке, с хлыстом в руке. У дверей она обернулась — с искаженным темным лицом, на котором, как два яркие пятна, сверкали глаза и оскаленные зубы...

— Вас следовало бы вот этим! — сказала она, грозя Ревизанову хлыстом.

Андрей Яковлевич поднялся с места и шагнул к Леони. Она струсила и съежилась, ожидая удара... Но он не бил, а только смотрел на нее с презрительным любопытством, как будто говорил взглядом: «Ах, дура, дура!»

Леони поняла этот взгляд — и страшно ей было, и бешенство брало ее. Нерешительно, как не смеющий напасть зверь, она топталась на пороге, — потом вдруг швырнула в Ревизанова своим хлыстом, не попала и быстрее молнии выскользнула за дверь.

— Идиотка! — уже громко послал ей вслед Андрей Яковлевич.

Он поднял хлыст, осмотрел его, подавил пружинку: ручка — серебряная головка левретки — отскочила, вытянув за собою тонкое трехгранное лезвие блестящей темно-синей стали.

«Изящная вещичка, — подумал он. — Сохраним ее на память об освобождении от иноплеменницы».

Он отнес хлыст в свою спальню и положил на туалетный столик. Потом позвонил.

— Иоган, — приказал он явившемуся слуге, — заметили вы эту даму, которая от меня вышла?

— Мадам Леони?

— Да. Меня для нее никогда нет дома. Передайте это швейцару.

— Слушаю-с.

Оставшись один, Ревизанов долго и внимательно читал полученное письмо:

«Очень может быть, что письмом этим я делаю новую ошибку и даю вам новое оружие против меня. Но все равно. У вас столько оружия, что одним больше, одним меньше не сделает разницы. Если вы хотите меня погубить, то погубите и без этих жалких строк. Я в последний раз пытаюсь умиловить вас, смягчить ваше сердце. Сжальтесь надо мною, оставьте меня в покое. Что вам во мне? на что я вам? Мало ли женщин красивее меня! Я уже немолода, я мать семейства, у меня взрослые дети. Пощадите мою совесть... как я буду смотреть им в глаза? Отпустите меня на волю! Клянусь: я буду благодарна вам, как благодетелю. Вместо врага, вы приобретете друга, верного и преданного, какого у вас еще не бывало».

Ревизанов долго думал. По лицу его ходили тени. Он сел к письменному столу, несколько раз брался за перо и снова опускал его... Ему — против воли — стало жаль женщины, писавшей это робкое, униженное письмо.

— Да... но отказаться от нее — невозможно, — размышлял он. — Она зацепила меня слишком крепко: если я отпущу ее, это отравит мне жизнь, будет грызть меня целые годы... «Немолода»... «есть красивее меня»... странные эти женщины!.. живут, живут — доживают до конца бабьего века — и все еще думают, что любят их за молодость, за красоту... Любят — потому что любится; любят не женщину, но свою прихоть к ней.

Он еще раз перечитал письмо, хмурясь все больше и больше... Память уносила его к далекому, но не забытому времени, когда он, смущенный, растерянный, уничтоженный, стоял пред этою самою женщиною, которая теперь ползает у его ног с мольбами о пощаде, и не знал, что ответить на ее негодующий взгляд, обличавший его лицемерие, — взгляд ангела в день судный... И как тогда, он теперь снова то краснел, то бледнел под этим воображаемым взглядом...

«Как я был тогда побежден! как раздавлен! — думал он. — О, больше уж никто, никогда в жизни не одерживал надо мною такой победы... Нет, нам надо поквитаться. Есть моменты, которые остаются жить в сердце навсегда, как зудящие кровоточивые ранки.

Этот момент, когда она застала нас с Олимпиадою, — из таких. Мне стыдно себя в ту минуту, стыдно... вот чего я ей не прощу, вот ради чего она мне нужна теперь! Я хотел бы забыть, что она была сильнее меня, и тогда легко отпустил бы ее на свободу... Но над памятью своею никто не властен... я все помню и ничего не простил... Может быть, я и люблю-то ее потому, что она — одна из всех женщин, каких бросала судьба в мои объятия, — сумела однажды смутить меня и унижить, умеет теперь презирать и ненавидеть; потому что с нею надо бороться, надо покорить ее, завоевать... Ступить ей сейчас — значит, быть побежденным ею во второй раз... Ни за что!»

И на полученном письме Андрей Яковлевич написал решительным и твердым почерком:

«У меня, суббота, 12 часов ночи».

Он запечатал письмо в конверт со своим вензелем и, часом позже, проезжая мимо квартиры Верховских, сам отдал его горничной для передачи Людмиле Александровне.

— Не потеряй, милая, — предупредил он, — здесь билет в театр.

— Теперь я уверен, что моя взяла! — улыбался Андрей Яковлевич, летя в своих санках по Пречистенке. — И надеюсь, что, возвратив письмо, я поступил, хотя настойчиво, но по-рыцарски... Никогда не надо натягивать струну до последнего: оставь свободным хоть один колок. А в этой скрипке струны натянуты уже сильно, очень сильно.

Утром в субботу Ревизанов встретил на улице Синева и зазвал его к себе завтракать. Странно: молодой следователь ему нравился. Может быть, даже, что нравился именно тою скрытою антипатиею, тем задором, какие он неизменно встречал и чувствовал в Петре Дмитриевиче. Синева, всегда обласканный при встрече с Ревизановым, не знал, чему это приписать. Он не уклонялся от Ревизанова, потому что слишком интересовался им, но — в глубине души — ощущал некоторое угрызение совести: «Вот, мол, человек ко мне — всюю душою, всегда внимателен, ласков, любезен, а я против него все на дыбы да на дыбы...»

На этот раз он не выдержал и в конце завтрака откровенно спросил:

— Скажите, Андрей Яковлевич: зачем вы затащили меня к себе?

— Разве вам было скучно? — удивился Ревизанов.

— Нет. Помилуйте! Вы отлично кормите, еще лучше поите, у вас несравненные сигары, и болтать с вами занимательно.

— На что же вы жалуетесь? — как говорится в какой-то оперетке.

— Я и не думаю жаловаться, — напротив, счастлив и благодарен. Вам-то что за охота со мною возиться?

Ревизанов сделал комический поклон:

— Всегда рад вам, Петр Дмитриевич, душевно рад.

— Вот этого именно я не понимаю: с чего вам радоваться-то? Что я для вас представляю? Так, грубиян-мальчишка, моська — знать, она сильна, что лает на слона!

Ревизанов засмеялся:

— Батюшки! Что за унижение паче гордости? Кажется, всего лишь третью бутылку клико пьем, а уже...

— Покаянный стих? — подхватил Синева. — Ничего. Так и надо. Он мною в отношении вас уже с третьего дня владеет... Эта правда, что я слышал: будто вы за всех наших студентов недостаточных, к исключению предназначенных, плату в университет внесли?

— Предположим, что правда, — нехотя протянул Ревизанов. — Так что же?

Синева встал и поклонился в пояс:

— Великолепно, батенька! Поклон вам! Поклон до земли!

Но Ревизанов возразил даже как бы с некоторой досадой:

— Что тут великолепного? Вы же знаете мой взгляд на благотворительность. Еще одна неизбежная взятка обществу. Только и всего.

Но Синева грозил ему пальцем:

— Э, батенька! дудки! Теперь не обморочите. Знаем мы, как вас понимать надо, притворщик вы. Руку вам жму за студентов наших... благородно поступлено... руку жму!

— Что ж на сухую-то жать?

Ревизанов позвонил и приказал подать еще вина. Синева, уже несколько грузный, ужаснулся было, но Ревизанов усадил его, смеясь:

— Так позвольте вас немножко подпоить. Задобриваю вас, мой друг. Помните наши пылкие дебаты у Верховских?

— Это о непоиманных преступниках-то?

— Да. Вы следователь. Почему знать? Может быть, вы — моя судьба. Следовательские инстинкты не разыгрываются у вас в моем присутствии? а?

Синев ответил на шутку довольно натянутым смехом:

— Тогда бы я не сидел с вами за одним столом.

— Напрасно. Следователю не резон быть пуристом. Якшайтесь с преступником, если хотите добиться от него толка.

— А скажите серьезно, Андрей Яковлевич, — сказал Синев, — как вы сами относитесь к этой вечной диффамации вас, из-за угла?

Ревизанов усмехнулся:

— Точно так же, как если меня ругают в открытую... вроде вас, например.

— Ме-е-еня?! — Синев даже руками развел.

— Довольно невинно спрошено. А историю об уральском Крезе забыли?

— Это у Ратисовой-то?

— Именно у Ратисовой.

Синев сконфузился:

— Андрей Яковлевич... Фу! какое это было мальчишество!.. Послушайте, Андрей Яковлевич...

— Да нет: вы не беспокойтесь и не трудитесь извиняться, — остановил его Ревизанов, — я на вас не сержусь.

Синев мялся, красный, как мак:

— Меня стоило за уши выдрать, а вы великодушно промолчали.

— Я в таких случаях всегда молчу.

— Всегда?

— Обязательно.

— Опасная система, Андрей Яковлевич.

— Почему?

— Молчание могут принять за знак согласия.

Ревизанов презрительно повел губами:

— А мне какое дело? пусть принимают.

Синев смотрел на него с любопытством, почти жалостливым.

— Андрей Яковлевич, да ведь нехорошо... И как только в вас совмещается все это... ну, ведь сознаете же вы... Ну, признайтесь, поймите, скажите вслух, громко, что было нехорошо?

Ревизанов ответил ему без улыбки, с серьезным, почти угрюмым взглядом:

— Хорошо или не хорошо, а не переменишь, если было. Хвалиться нечем, а отречься — горд.

— Смелый же вы человек! — вздохнул Петр Дмитриевич, глядя на него с любопытством.

— Да, робеть и труса праздновать не в моих правилах.

— Дело в том, Петр Дмитриевич, — продолжал он, подумав, — что, если человек сам сознает в себе преступника и не боится им остаться, так трусить посторонней пустопорожной болтовни и считаться с нею — ему нечего.

— Послушайте! это... — начал было смущенный Синев.

Ревизанов захохотал:

— Нет, вы погодите хватать меня за шиворот. Я не дам: я если и преступник, то на легальных основаниях.

Синев покраснел.

— Черт знает что такое! — проворчал он. — С вами разговаривать — что по канату ходить.

— Лет пять тому назад, — медленно говорил Ревизанов, — я поссорился с одним банкиром... Блюмом его звали...

— Я знаю эту историю.

— Он меня оскорбил, а я его уничтожил. Сперва подразнил и помучил на биржевых качелях: de la baisse, a hausse [18] — а потом, просто-напросто, взял из его конторы свой вклад, крупный таки куш, в минуту самых трудных платежей. Что называется, взорвал банкира на воздух. Блюм лопнул и бежал. Теперь где-то в Америке околачивается. То ли фокусы белой магии показывает, то ли сапоги на улицах чистит. Десятки семейств разорились, были случаи и самоубийств, и сумасшествий...

— Что же из этого следует?

— Позвольте!.. Далее: недавно я сыграл на понижение черепановских акций и в неделю заработал, — если только подходит сюда такое слово, — пятьсот тысяч рублей; но в результате этой операции опять десятки семейств должны были пойти по миру и, конечно, пошли. Не идиот же я, чтобы не предвидеть трагического конца, когда начинал Блюмову кампанию, когда ввязался в черепановскую игру, — однако и в игру ввязался и кампанию начал... На вашем юридическом языке это, кажется, называется — «по предварительно обдуманному намерению»? Так, что ли?

Он смотрел на следователя с горькою и холодною насмешкою.

— Ну, что же... конечно... — бормотал сбитый с толку Петр Дмитриевич, не зная, что отвечать. — Но это уже — в области морали, вне нашей компетенции... а так — по общежитию то есть и юридическому смыслу — вы действовали в пределах своего права.

Ревизанов строго возразил:

— Если вы считаете меня вправе убить сотню человек крахом банка, почему мне не убить

одного человека ударом ножа или известною дозой мышьяку?

Синев махнул рукою:

— Отвечу вам любимыми словами милейшего Степана Ильича Верховского: «Софизмы, батюшка, старые софизмы!» — да еще с прескверным ароматом вдобавок: Сибирью пахнут.

Ревизанов возразил отрицательным движением руки, полным самоуверенного сознания своей силы:

— «Что Сибирь! далеко Сибирь!» Шпекин и не подозревал, голубчик, какую гениальную фразу он сказал. Сибирь — учреждение для дураков и нищих. Ну, вообразите-ка, для примера, преступником меня, вашего покорнейшего слугу? Неужели я буду так глуп — дамся вам отправить меня в Сибирь?

— Вот тебе на! отчего же нет?

— Оттого, что между мною и Сибирью, — принимая Сибирь как общий образ уголовного наказания, — всегда останутся три барьера: ловкость, смелость и богатство.

— Деньгами от уголовщины не отвертитесь!

— Будто?

— Замять уголовное дело? да ни за сто тысяч!

— За иные дела платят и больше, — подразнивал Андрей Яковлевич.

— Порядочному человеку это безразлично.

— Порядочному... — протянул Ревизанов. — А вы имели когда-нибудь в своем распоряжении сто тысяч?

— Конечно нет.

— Хорошая сумма. Круглая.

— Какая бы ни была!

Ревизанов мелодраматически склонил пред ним свою голову:

— Вы бескорыстны. Это делает вам честь!

— Подкуп! — размышлял Петр Дмитриевич. — Ну хорошо: сегодня вы откупитесь, завтра, послезавтра... но не монетный же вы двор, чтобы постоянно выбрасывать из кармана по сто тысяч...

— Да ведь и не каторга же я воплощенная, чтобы постоянно нуждаться в подкупе.

Прощаясь с Синевым, Ревизанов звал его на завтра обедать.

— Не могу, Андрей Яковлевич, простите. Завтра воскресенье: я искони абонирован Верховскими.

— Ага! тогда в понедельник. Кланяйтесь Верховским.

— Верховскому solo, — поправил Синев. — Людмила Александровна уехала.

— Да? — удивился Ревизанов, глядя в сторону. — Куда это она?

— В деревню, к тетке... помните Алимову, Елену Львовну?

— Еще бы! Почтенная старушка. Когда же?..

— Сегодня рано утром. Я провожал. Она вчера сразу надумала и собралась поехать.

— Елена Львовна! — меланхолически произнес Ревизанов. — Сколько лет я ее не видал!.. друзьями были... Скажите: давно она стала помещицей? Я что-то не помню, чтобы у нее было именье...

— Помилуйте! Родовое, чудное именье в Рязанской губернии.

— А! там земли вздорожали с тех пор, как прошла железная дорога. Я приценился в прошлом году: приступа нет.

— В таком случае, именье Елены Львовны — Эльдorado. Ее земля в двух верстах от Осиновки. Знаете — большой буфет?

— Как же, ежжал...

«Лекок тоже! — рассмеялся Ревизанов, проводив Петра Дмитриевича. — Хочет читать в сердцах, а из самого качай вести, как воду из колодца... Итак — уехала! Гм... признаюсь, это довольно неожиданно... Придет или не придет? Что означает этот отъезд? Бегство или лишь, так сказать, антисемейный маневр?»

Он взял с этажерки красный томик Фрума. «Рязанская дорога... Осиновка... так, так... Ха-ха-ха! а встречный-то поезд в Малиновых зорях? Я и забыл!»...

XVIII

Ревизанов ждал. Стол был накрыт на двоих, сверкал серебром и хрусталем, благоухал цветами и дорогими фруктами. Слугу, который сервировал стол, Андрей Яковлевич давно отослал с наказом:

— Иоган, я жду даму. Предупредите швейцара; не надо, чтобы ее видели; пусть проведет как-нибудь поосторожнее. Завтра вы разбудите меня в одиннадцать. Если разбудите позже, прибью; если разбудите раньше, убью! Впрочем, вы знаете мои привычки: не впервой... вас учить нечего.

Андрей Яковлевич не стыдился сознаться, наедине с самим собою, что он волнуется.

«Что, если этот отъезд не маневр, не маска, — думал он, стоя у каминных часов и пристально следя за движением стрелок по циферблату, — но бегство? самое настоящее бегство... заячье, опрометью, куда глаза глядят — лишь бы спрятаться, как страус прячет в песок голову и воображает, будто спрятал все тело? Да нет, быть не может... не посмеет!.. Но если? Берегись тогда, красавица! и посильнее тебя людей скручивал я в бараний рог!.. Странно, однако, как крепко она меня зацепила... Подумаешь, — жду первого свидания!.. Вон — даже руки дрожат... Нервы — что струны в расстроенном фортепьяно».

Не раз, чуя легкий шорох за дверью, он выглядывал в коридор и уверялся, что обманут слухом... Наконец, вслед за коротким порывистым стуком, дверь распахнулась, и на пороге выросла стройная фигура Верховской. Ревизанов даже схватился рукою за сердце: так быстро — до боли — и радостно заколотилось оно.

— А! наконец-то...

Он помог Людмиле Александровне снять шубку.

— Бог мой! черный вуаль, черное платье, — по ком вы в трауре?

Из-под густого вуаля Людмилы Александровны отозвался голос, который — будто весь остался за зубами, оттолкнутый и задохнувшийся встречным воздухом, как подушкой.

— Виноват... не понял... что? — внимательно, хмурясь, переспросил Ревизанов.

Голос повторил:

— Я сказала: по своей совести.

Ревизанов сделал гримасу:

— Как громко и... как печально! Неужели и личико ваше сегодня такое же траурное? Откройте его, дорогая, дайте полюбоваться.

Верховская откинула вуаль. Ревизанов взглянул ей в лицо и отступил в изумлении.

— Ах, хороша! — тихо сказал он. — Что вы сегодня сделали с собою, Людмила? Вы богиней смотрите! Говорят, страсть делает женщин красивыми. Уж не влюбились ли вы в меня за эти дни?

— Ненависть — тоже страсть, — возразила она, глядя в лицо Ревизанову.

— А вы ненавидите меня? — спокойно спросил он.

Она отвечала без гнева, просто, точно он ее о погоде спросил:

— Да... я вас ненавижу!

— Честное слово?

Верховская пожала плечами. Ревизанов отвернулся — не то гнев, не то тоска отразилась на его красивом лице. Несколько секунд длилось молчание. Потом он быстро подошел к столу и выпил, один за другим, два стакана шампанского.

— Ха-ха-ха! Это любопытно! — воскликнул он с деланным смехом. — Третьего дня утром я выгнал из этой комнаты мою Леони, женщину, страстно влюбленную в меня, за то лишь, что надоела она мне своею любовью до отвращения. И вот быстрое возмездие: сегодня я сам, такой же страстно влюбленный, принимаю на том же месте другую женщину, и эта женщина меня ненавидит до отвращения. Долг платежом красен. Странные контрасты случаются в жизни.

— И страшные!.. — отозвалась Верховская.

— Да, и страшные... Но, *sacristi* [19], зачем же вы так мрачны? Ненавидьте меня, сколько хотите, пожалуй даже, в заключение вечера, попробуем разыграть сцену из «Лукреции Борджиа». Разрешаю вам подсыпать мне яду в шампанское и отправить меня *ad patre* [20]: надо же умирать когда-нибудь, а приятнее умереть от вашей руки и в такой жизнерадостной обстановке, чем «скончаться посреди детей, плаксивых баб и лекарей!» Но до тех пор уговор: ради Бога, не портите мне минуты долгожданного счастья унылым лицом, печальными взглядами. Сядем к столу. Вы любите мандарины? дюшесы? Выпейте стакан вина и не горюйте: что горевать! Жизнь хорошая штука, я добрый малый, — гораздо добрее, чем вы думаете, — и вы не будете в убытке, повинувшись мне... За ваше здоровье! Пейте и вы, — я

хочу этого... я прошу вас...

Ревизанов выпил еще стакан, потом встал с места и зашагал по комнате. Он остановился. Верховская чувствовала его дыхание на своей шее, но не отстранялась... Он поцеловал ее около уха. Она не пошевелилась.

— Вы оскорбились? — спросил Ревизанов, помолчав.

— Я пришла сюда продаться... я ваша невольница... вы властны распоряжаться мною...

Он нервно потряс спинку стула и отошел прочь.

— Проклятье! — сказал он. — Что вы мне напомнили? зачем?! Купить вас? Отнести к вам, как к какой-нибудь Леони, как к любой из продажных самок общества? А если я не способен на это? если я вас слишком уважаю? если мне больно владеть вами и быть вам ненавистным? если я люблю вас?

Людмила Александровна молчала, опустив голову.

— Если я люблю вас?! — вскриком повторил он.

Людмила Александровна скользнула беглым взглядом по его возбужденному лицу.

— Я не могу вам запретить говорить о любви, — сказала она, — не могу и запретить любить меня, если вы не лжете. Но если вы меня действительно любите, вы выбрали дурной и позорный путь искать взаимности.

Ревизанов повернулся к ней, озадаченный, с любопытством.

— Вот?.. Как же я должен был поступить?

Она возразила, угрюмая, с нетерпеливым презрением гордой пленницы, беззащитно оскорбляемой дикарем:

— Не мне учить вас, я не даю уроков любви.

— Однако? — хмуро настаивал Ревизанов.

Тем же равнодушным голосом, которым она призналась ему в своей ненависти, она сказала и теперь спокойно, будто отвечая урок:

— Нельзя поработать, кого любишь.

Лицо Ревизанова дрогнуло оскорблением и насмешкою.

— Ага! вот что! — промычал он.

— Сперва дайте мне свободу, а потом говорите о любви. Вы держите меня в застенке, на дыбе — и клянетесь: это от любви, от страстной любви... Стыдно, Ревизанов!

— Дать вам свободу?

Взоры их встретились. Ревизанов не опустил своих глаз и упорно рассматривал Людмилу Александровну, — словно впервые видел, — с восторгом, удивлением. Смутная надежда на спасение, зарожденная было в душе Верховской его последними словами, растаяла под этим алчным взглядом...

— Дать вам свободу?

Она отвернулась. Ревизанов заговорил медленно и четко:

— Нет, я не дам вам свободы!

— Ваша воля.

— Да, не дам... ха-ха-ха!.. Отпустить вас домой, возвратить вам письма? Знаете ли: пожалуй, это было бы даже не глупо! Держу пари: вы были бы способны — и в самом деле — почувствовать ко мне, как вы пишете, — некоторое расположение, вздумай я разыграть с вами комедию столь рыцарского свойства. Но, во-первых, я не люблю повторений, я читал уже про подобное великодушие в каком-то романе. А во-вторых, я вообще не охотник до комедий. Если я негодяй, как вы меня зовете и почитаете, то, по крайней мере, не лицемерный негодяй и не ловлю ни любви, ни дружбы на приманку поддельного благородства. Вот — я, каков есть. Таким и возьмите меня со всем моим негодяйством, таким и любите, с таким и дружите, если можете. А любви к вымышленному Ревизанову, Ревизанову благородному, мне и не надо! Что в ней? Полюби нас черненькими — беленькими-то нас всякий полюбит.

Он выпил.

— А мы могли бы сойтись! Мало того: нам следовало бы сойтись... Дайте мне вашу руку!.. Белая, мягкая ручка, а ведь и крупная, и сильная... Ах, моя красавица! мое божество!.. И неужели мы с вами, раз столкнувшись, разойдемся и не оценим друг друга?

— Разошлись уже однажды... давно... и, кажется, взаимная оценка была сделана справедливо, по заслугам.

— Тогда! Да кто были мы тогда?! Вы — сантиментальная девочка, я — человек без положения, дрянь, трус, как всякий, кто висит между небом и землею! ха-ха-ха! Помните, как это у Гете:

С богами

Меряться смертный

Да не дерзнет.

Если подыметесь он и коснется

Теменем звезд,

Негде тогда опереться

Шатким подошвам,

И им играют

Тучи и ветер!

Видите: вы сделали меня поэтом; я припоминаю заученные в гимназии стихи и декламирую... правда, недурно декламирую?.. Теперь вы — чуть не царица своего общества; я же... полагаю, вы слыхали про мое положение, про мою деятельность?

— Мало хорошего!

— Да, меня сильно бранят. Но не в брани и похвалах дело: дураки хвалят, трусы и лицемеры ругают, — а в том, что оба мы авторитеты для своего общества, для своего круга...

— Говорите за себя, Ревизанов, что за параллели!

— Извольте. Но мне-то уж позвольте немного пооткровенничать: я не боюсь заявить свою авторитетность в глазах по меньшей мере десятков тысяч людей, потому что знаю, а еще больше чувствую ее за собою. Я теперь в таком положении, что скажу глупость — ее найдут необыкновенно умною и оригинальною мыслью; сделаю мерзость — меня оправдают необычайно широким размахом гениальной натуры, непостижимым для обыкновенных смертных. Шире дорогу, туз идет! Настежь ворота перед финансовым гением! Да! Деньги и твердая воля делают человека гением. Я имею деньги и неуклонно тверд в своих целях. Я — авторитет, потому что я капиталист; я — капиталист, потому что за каждым шагом моим неизменно идет удача; удача — моя постоянная спутница, потому что я всегда знаю, чего хочу, в деталях, и всегда хочу одного и того же в общем. Власть — мой идеал, и много ее у меня, и будет еще больше! Я не знал ни иных страстей, ни иных увлечений. Женщины любили меня, — я сделал из них орудие своих целей, и много раз их нежные руки подымали меня от ступени к ступени, а то и через ступень, вверх по качающимся лестницам общественных положений. У меня бывали друзья, приятели; но если друг мешал мне или загоразживал мне дорогу, я хватал его за горло, как врага. Я даже денег не люблю: они для меня только средство, я никогда не жалел их терять. Так я иду и буду идти все выше и выше, пока смерть не остановит меня, не сшибет с земли, как бойца с арены. Но Людмила! в последнее время со мной творится что-то недоброе. Чувство неудовлетворения прокралось в мою душу и отравило ее. Я полон им, я весь — недовольство; скучно мне одному и властвовать, и стремиться к власти. Я полюбил вас, и любовь победила упорство моей воли, она стала выше моих стремлений. Вы мне дороже, желаннее. Я люблю вас! я хочу теперь не властвовать, а принадлежать, моя душа ищет вашей души...

— Довольно, Ревизанов.

Он не слушал.

— О, нет! оставьте меня пьянеть от вина и любви и высказываться; я еще никогда никому не высказывался... А! если бы вы захотели идти рука в руку со мною! А! как бы могучи вы были! Смотрите — вот бумажник: тысячи людей зажаты в нем. Выкладываю я из него — радость, смех, ликование тысячам; кладу в него — у десятков тысяч слезы льются. Разожму ладонь — дыши, толпа! согну кулак — задыхайся, кровью исходи!.. Хотите — я подниму рубль на берлинской бирже? Хотите — уроню его? Я все могу, а передавая в ваши руки самого себя, делаю вас госпожой и над своей властью. Лев будет у ваших ног! Не думайте, Людмила, чтобы я рисовался или обманывался в своем могуществе. Я не дутый истукан и стою не на глиняных ногах; мой пьедестал — мешки с золотом. Вы скажете: много людей богаче меня. Да, но миллион в руках человека, как я, без иного закона, кроме своей воли, деятельнее и победоноснее миллиарда в распоряжении узаконенной добродетели. Да у добродетели и вовсе нет денег. Люди богаче меня — Ротшильды, Вандербильты, Гульды, Макеи — моего поля ягоды, только — тех же щей, да пожиже влей. Как, извините, мужики говорят: кишка тонка и рылом не вышли. В руках их больше денег, больше средств быть властными, чем у меня, но они хотят быть не властными, а богатыми. Для них деньги не средство, а цель, и потому им нужна охрана закона; а кому необходима дружба с человеческими постановлениями, тот уже обязан общепринятой нравственностью, тот уже связан страхом общества. Кто нуждается в том, чтобы его сторожили, тот уже сам слуга сторожа, который ему служит. А я свободен. Они — номинальные властелины — в сущности, рабы своих капиталов; я — неограниченный повелитель своего; потому что в то время, как все действуют, чтобы иметь деньги, я имею деньги, чтобы действовать. Капиталы Вандербильтов — благоустроенные лены, тесно связанные взаимным благополучием и охранением со своими баронами; мой — беспощадная и не ждущая пощады кочевая орда, дикая шайка

кондотьеров, пущенная искусным вождем в ход на «пан или пропал». Чего Сфорца искал железом, Ревизанов ищет золотом. Ста миллионов рублей достаточно умному человеку, чтобы стать счастьем или горем своей страны; обладатель миллиарда отражает свое влияние на всех частях света. Я уже считаюсь одним из крупных капиталистов, но я много богаче, чем обо мне думают. Через три года у меня будет сто миллионов, через пять — триста, через десять — миллиард! А тогда...

XIX

Верховская, против воли, была заинтересована безумным красноречием Ревизанова, и он заметил это:

— Ну ведь вам хочется спросить: что тогда? Отчего же вы не спрашиваете?

— Я вижу и без вашего ответа, что вы мечтаете о какой-то необъятной тирании... серьезно или шутя — Бог вас знает.

— Серьезно, Людмила, совершенно серьезно! — в восторге завопил он. — Вы отлично сказали: «необъятная тирания». Современная власть меня не удовлетворяет: она слаба и мягка. Я не хотел бы родиться договорным государем; мой идеал — царь не подданных, но рабов, царь бича и крови, царь гнева, царь-бог, Навуходносор, Камбиз, Ксеркс! Нам выставляют, как что-то необычайно смешное, что Ксеркс велел высечь Геллеспонт... а я так думаю, что никогда его бесчисленные рати не верили в величие своего деспота сильнее, чем в тот момент, когда он выдрал морское божество, как провинившегося школьника! Вот это власть! Родись я в древние, даже в средние века, я не успокоился бы, пока не добыл бы ее для себя. Я опоздал, ужасно опоздал родиться... Слушайте! Я не мечтатель, но есть фантастические образы, опьяняющие мое воображение. Вы, конечно, слышали про Стэнли? Это высокоталантливый, героический человек, с железною бесповоротною волею, с холодным прямолинейным умом, с неистощимым запасом сознательной энергии, человек плана, путешествующий Бисмарк в приспособлении к африканским пустыням: жестокий, бессовестный, ничего не боящийся, выше всего на свете ставящий себя самого и свои цели. Я глубоко уважаю Стэнли, как голову и характер, хотя и презираю его деятельность. Теперь он — не более как старший брат разных Беккеров, Фогелей, Юнкеров и им подобных ученых бродяг, именующих себя пионерами цивилизации... очень там нужна их цивилизация!.. а ведь он мог бы поставить на реальную почву «Воздушные замки» Альнаскара. Представьте этого Стэнли не агентом «New-York Herald'a» или Леопольда бельгийского на посылках за какими-нибудь ливингстонами и эмин-беями, но самостоятельным агитатором — властолюбцем, богатым, как я, и, подобно мне же, презирающим свое богатство вне той власти, какую оно ему дает. Представьте его ренегатом, магометанином... Стэнли-махди! Вы только вникните, что это за колоссальный образ! Шайка ничтожных феллахов, без денег и оружия, оказалась в состоянии, силою своего энтузиазма, потрясти авторитет могущественнейшей европейской державы, от востока до запада африканского материка. А Стэнли-махди! — богатый, вооруженный митральезами и динамитом, с миллионами фанатиков под знаменем священной войны, с миллионами солдат, лучших солдат в свете, потому что им все равно, жить или умереть. Фаталисты, живущие экстазами, они сами обрекли себя, как пушечное мясо, на смерть во славу пророка и погибают без ропота, покоряясь смерти, как желанной и должной, а если битва щадит их, принимают это лишь как отсрочку, временное помилование до следующего случая. В миллионной рати махди нет даже тени недовольства; она творит святое дело истребления неверных, сытая, обутая, одетая; махди экзальтирует ее своими вещими снами, указаниями с неба, творит чудеса именем Магомета и силою современного естествознания. Это — воздушные замки, это —

жюль-верновская сказка, но это власть. Вот вам еще другой соблазнительно-властный образ: царя анархии, вождя всемирной смуты. О, не думайте, что я сочувствую ее идеям! Они — озленный, озверенный, но все-таки детский бред, не больше. Но — какое орудие! какое орудие! Она — нищая эта смута — и должна быть нищею. Сейчас это стадо — злое и нелепое, но бессильное, — кроме как на мелкие пакости, вроде убийства женщины из-за угла и трусливого швыряния бомб по кафе и церквям в беззащитную, ничем не повинную толпу. Почему? Потому что пастухи стада — тоже злые и нелепые нищие, творящие свои дикие преступления по инстинкту нищей злобы, по философии голода и голодной ненависти к сытым. Их преступления — стихийные: без средств и без фантазии. А вообразите себе пастухом стада полужверей, полудемонов человека — с фантазией хоть Нерона, что ли; то есть — виртуоза истребления, и со средствами, позволяющими ему эту виртуозность носить не только в своей голове, но и проявлять на деле... Фраза о ста миллионах голов станет делом, старец Горы с его ассасинами воскреснет в апофеозе и воцарится над новою великою державою убийц, тем более ужасною, что она будет державою в державах. Да. Державою в державах, государством в государствах — вот как теперь антисемиты воображают и обвиняют «жидов». Только — сдуру. Куда же им. Еврей — семейная сила. Позади у него традиция на три тысячи лет — род отцов его до Авраама, Исаака и Иакова, впереди идеал — продолжение рода, неистощимое семя Израиля. На таких прочных привязках в анархию не ускачешь: где еврей торговец, там он либеральный буржуа, где еврей рабочий, там он социалист. А я социалистов ненавижу. Социализм — это мне нож острый, камень под ноги. Он строить собирается, а надо ломать. С миллиардом, превращенным в динамит, можно сломать все, что наслоилось на земле веками истории человеческой. Цивилизация дрогнет, два света потрясутся в основах, государства перевернутся вверх дном и застынут в хаосе: внизу будет перепуганное, трепещущее человечество, вверху — торжествующая шайка бандитов, выше всего — их атаман!

— Боже мой, что говорите вы?! Каким ядом надо отравить свою душу, чтоб выносить в ней бред таких чудовищных идеалов — еще, к счастью, неисполнимый бред!

— Неисполнимый? Вы так думаете? Напрасно! И старец Горы, и махди — не мифы! Не мифы — Кази-Мулла, Иоанн Лейденский, Мазаньэлло, два Наполеона. Вы скажете: то были гении. А почему бы мне не считать себя гением? Вы скажете: то были энтузиасты. И я энтузиаст. Только безумная дерзость и увенчивалась историческим успехом. Гений безумец... Царь Сиона — трактирщик. Мазаньэлло — рыбак. Наполеон — артиллерийский поручик, Лжедмитрий — монастырский служка. Эти ли люди не сделали безумных скачков из одного положения к другому?! Ну, хорошо, пусть будет по-вашему! Все это было, да прошло; говорю же вам — я опоздал родиться; и, пока мы стоим на реальной почве, мои идеалы, конечно, неисполнимы. Но и в этом сознании меня уже удовлетворяет гордая мысль, что лишь подобная перемена декорации может поставить меня еще выше положения, в каком я уже стою теперь, — обыкновенно гордый и повелевающий, а нынче коленапреклоненный и молящий: Людмила, жизнь моя, счастье мое! раздели мою власть, прими мою любовь!

— Не надо мне ни вашей грязной любви, ни вашей безумной власти.

Он отвернулся с тоскою и возразил глухо, раздумчиво:

— Да, не надо... Я не понимаю, как может быть этого не надо, но знаю, — слишком я чувствую это, — что тебе действительно не надо. И оттого-то так страдаю в эти минуты мнимого торжества над вами... Ваша добродетель, ваша репутация в моих руках; захочу я — и богиня станет простою самкой. Но я не хочу. Мой Бог! как унижить вас? унижить ту, кого я поставил в своих мечтах выше себя, выше своих задач и надежд?.. Не хочу, не хочу!

— Тогда отпустите меня, будьте честны хоть раз в жизни, — сурово сказала Верховская, поднимаясь с места.

— Оскорбляет, опять оскорбляет! — крикнул Ревизанов и уронил голову на грудь; он был заметно и сильно пьян. — Всегда, всегда только оскорбляет!.. Послушай! — начал он после минутного размышления, — послушай... не сердись, что я говорю тебе «ты»... Я очень люблю тебя, и мне больно, что мы враги. Я не хотел бы сделать тебе зло... Я очень несчастен, что не умею взять любовь твою... Да, очень... Пожалей же и ты меня. Если ты уже не в силах полюбить меня, то, по крайней мере, не мучь меня беспощадной правдою, не показывай мне своего отвращения! Это мальчишество, это глупо, это пошло, но — пусть будет так! — солги мне, обмани меня сегодня, что ты можешь полюбить меня... И Бог с тобой! Иди, куда хочешь; я отдам тебе твои письма.

— Нет, Андрей Яковлевич; я не стану лгать.

— Людмила! пользуйся, пользуйся случаем! Я пьян; сегодня вино что-то слишком быстро ошеломило меня; я размяк... Солги, обмани меня скорее! Завтра я буду снова трезв, холоден и жесток. Мысль возьмет верх над страстью. Я уже не захочу обманываться; я буду я, и самое воспоминание о нынешнем унижении моем покажется мне смешною сплетнею о каком-то чужом чудачке. Теперь я жажду сделать тебя своею госпожою, завтра рассудок велит мне унижить тебя, как рабыню. Людмила, пользуйся случаем!

Покрасневшее лицо Ревизанова было и страстно, и грозно вместе. Под градом его унижительных просьб Людмила Александровна дрожала, как в лихорадке. Она ненавидела его в каждом звуке его голоса, в каждом жесте! Он был так противен ей, что ложь не могла сойти с ее языка. Даже самая мысль, выгодная мысль солгать, на которую он сам усердно наталкивал ее, не нашла отзыва в ее уме; злобное отвращение к этому человеку слишком переполнило ее душу, чтобы ум повиновался иным побуждениям, кроме ненависти. В это мгновение даже грядущий позор представлялся ей и легче, и достойнее, чем предлагаемая ей ложь в два слова, ни к чему не обязывающая, как заведомый обман.

— Я ненавижу вас! — почти крикнула она в ответ. — Слышите вы это? Владейте моим телом и будьте прокляты!.. подлец! вы можете унижить меня, растоптать, обесславить, но не заставите меня покривить моим чувством. Это одно у меня осталось, остальное все ваше! Владейте, пользуйтесь, но этого-то не отнимете: останется мое! Владейте моим телом; тем ненавистнее вы будете мне. Кончим этот фарс! Вы требовали, чтобы я пришла. Я здесь. Где мои письма!

Голос ее захрипел и оборвался! Ревизанов выливал остатки шампанского из бутылки в стакан и невнятно бормотал:

— Да, ты... вы правы. Кончим! Время кончить... Ха-ха. Ну, не хотите, так и не надо... тем лучше... или тем хуже — не разберешь. К черту любовь! к черту! к черту!

Он допил вино и бросил стакан в камин. Потом взглянул на Людмилу воспаленными, злыми глазами... Лицо его дергали судороги, губы дрожали... Ей показалось, что вот-вот он бросится и уьет ее, и она была рада этому...

— Я совершенно пьян, — заключил он с внезапным спокойствием. — Тем лучше... Идем!

XX

Зимнее утро проглядывало узкими полосками бледного света сквозь тяжелые занавеси окон. Людмила Александровна сидела на кровати, угрюмая, как привидение, неподвижная, как статуя. Она смотрела широко раскрытыми глазами на все ярче и ярче белевшие просветы

утра, не отрываясь от них, точно околдованная их нарастающим сиянием.

«И вот я выйду на этот свет, и он увидит меня, и я увижу его...» — бессмысленно думала она, чувствуя, что в груди ее залег, точно кусок льда, какой-то удушающий холод... Ревизанов коснулся ее плеча. Она вздрогнула и перевела на него тот же тяжелый, не мигающий взгляд — без гнева, без отвращения, полный страшной усталости, молящий лишь о физической пощаде,

— Я хочу уйти... отпустите меня... — прошептала она.

Мимолетное выражение участия, налетевшее было на лицо Ревизанова, сразу померкло.

— Идите, я вас не задерживаю, — сказал он с гневом в голосе.

Людмила Александровна встала и, тяжело волоча ноги, направилась к своему платью...

— Письма мои? — сказала она, вполоборота протягивая руку Ревизанову.

Андрей Яковлевич прошел к письменному столу и вынул из ящика тонкую пачку листов, перевязанных пестрою лентою.

— Вот они... — протяжно молвил он, окидывая стоявшую перед ним женщину задумчивым, странным взглядом.

— Дайте же!..

Она все протягивала руку. Ревизанов улыбнулся. Вчерашнее нервное настроение сошло с него вместе с хмелем; он сделался спокоен, как всегда.

— А... если я не отдам вам писем? — услышала Людмила Александровна ровный металлический голос и по глазам Ревизанова увидала, что слова его не шутка.

— Как не отдадите? — пробормотала она.

— Так, просто — возьму да не отдам! — и он спрятал руку с письмами за спину.

Мысли Верховской помутились; пред глазами запрыгали огоньки...

— Что это? что это? — бессильно лепетала она, схватись за ручку кресла...

А Ревизанов продолжал:

— Если я отдам вам письма, придете ли вы ко мне в другой раз по доброй воле?.. Нет? Вот видите: какой же мне расчет выпускать их из своих рук? Не беспокойтесь: я сдержу обещание и не оглашу их; они у меня — как в могиле; но останутся у меня.

— Ох, был ли обман подлее этого? — горьким стоном вырвалось у Людмилы Александровны.

«Господи! что же это? — полетели в ее голове мысли. — Убить в себе навеки уважение к себе самой, обречь себя, как жертву, на тайный позор, на ласки ненавистного человека, лишь бы вырваться у него на волю, продаться за обещанную свободу, и все-таки остаться рабою?!»

Полились упреки, горькие слова, проклятия... Ревизанов был неумолим и все твердил:

— Нет, нет!

Потом прибавил:

— Вы напрасно говорите, будто я обманул вас. Я предупреждал вас. Вчера я был в ваших руках, — вы не воспользовались случаем. Сегодня снова вы в моих, и я своего не упущу. Самому дороже, Людмила Александровна, самому дороже... Я, дорогая моя, купец, и дело мое купеческое.

Он шутил, а она упала на колени и молила его, целовала его руки. Он, присев на край письменного стола, смотрел на валяющуюся у ног его женщину, и во взоре его Верховская не читала ничего, кроме наслаждения торжествующим произволом да любопытства, чем она кончит. Она еще молила, но бешенство уже кипело в ее груди... И вот из уст его раздалось оскорбление, лишившее ее последней капли самообладания:

— Вы слишком красивая женщина, чтобы лишиться вас после одного свидания...

Ревизанов не кончил: Людмила Александровна прыгнула к нему, как кошка, и ухватила его за горло. Красный туман вступил ей в глаза. Но Ревизанов был силен; через мгновение она уже лежала на ковре, отброшенная далеко от врага своего, а в ушах ее звенел его тихий, язвительный смех. Она встала, шатаясь. Возле нее стоял туалетный столик, заваленный безделушками. Она схватила с него что-то блестящее и, одним скачком перепрыгнув разделявшее их пространство, два раза ударила Ревизанова.

Он упал без слова, без крика, а она с проклятием плюнула в лицо, и ей стало легко; камень свалился с ее сердца, как будто она исполнила свой долг, как будто то, что свершилось, так и должно было свершиться, как будто зло ее жизни превратилось в добро с тех пор, как он, орудие зла, лег трупом к ее ногам.

Но вслед за тем силы оставили ее. Счастье мести исчезло. Сознание прояснилось, но лишь настолько, чтобы подыскать название происшедшему, грозным словом «убийство» осветить с_о_в_е_р_ш_е_н_н_о_е_д_е_л_о и, наполнив душу ужасом, снова оставить ее, как в потемках, испуганную, потрясенную. То не был страх самосохранения: ни возможность заслуженного наказания, ни даже представление о наказании еще не успели прийти Людмиле Александровне на память, а она уже была вне себя от мысли, что ею совершена смерть, что она осмелилась и смогла вырвать своей рукой из жизни разумное, мощное, полное гордых надежд существо, что у ног ее — труп.

Обманываясь тщетною надеждою, она несколько раз наклонялась к Ревизанову; но он был мертв. Он лежал навзничь, упав головою под стол; рука его замерла в судорожном движении к сердцу, куда она нанесла свой первый удар. Лицо убитого не успело окоченеть в маску спокойствия, свойственную большинству внезапно умерших. Смерть положила на него выражение странного недоумения. Казалось, Ревизанов не узнал смерти, когда она, неожиданная, мгновенная, схватила его. «Что это?.. неужели?..» — вспыхнул вопрос в его уме, и на вопросе он перестал мыслить, не успев ни ответить себе ужасом, ни отразить свой ужас на лице.

Где-то далеко пробили часы... Раздался электрический звонок... Гостиница пробуждалась и словно предостерегала убийцу первыми звуками своего бодрствования о скором открытии преступления, о приближающемся отмщении за пролитую кровь. Мысль бежать тупо прошла в уме Людмилы Александровны и сперва не нашла в нем отзыва: самосуд над собою, свершившийся в ее душе, еще заглушал в ней представление людей и боязнь их суда; ей казалось, что хуже, чем случилось, не может уже ничего случиться над нею, и не от чего больше спастись, некуда уже уйти.

Но звонки повторялись, и, с каждым из них, голос самосохранения говорил все громче и громче, — и вот ее отвращение к трупу перешло в стремление уйти прочь от него, в боязнь быть схваченной на месте преступления.

Глядя на полуодетого мертвеца, она вспомнила о беспорядке в своей одежде и приблизилась к кровати, чтобы взять свое платье, валявшееся на полу, вперемежку с платьем Ревизанова. Что-то звякнуло под ее каблуком. То был потайной стилет Леони с серебряною головкой левретки вместо ручки... Сталь облипла кровью. Людмила Александровна с отвращением оттолкнула ее ногою.

«Стоит мне уйти незамеченною, и не останется ни одной прямой улики на меня, — бродила в уме ее напряженная мысль. — Письма в моих руках, о_н уже ничего не расскажет, остается только самой быть осторожною и не оставить по себе никаких следов».

В каких-нибудь пять минут она оделась и, окутав лицо вуалем, как пришла черным призраком, так и вышла. Она заперла за собою дверь и положила ключ в карман. В коридорах она не встретила никого до самого подъезда. Швейцар на подъезде молча окинул ее безразличным взглядом: он помнил, что это — «ревизановская дама», а какая — ему было все равно: мало ли их бывало у Андрея Яковлевича! Людмила сунула швейцару рублевую бумажку. Он поблагодарил и с поклоном отворил дверь.

XXI

Елена Львовна Алимova несколько не удивилась внезапному приезду Верховской: племянница гостила у нее раза по два, по три в год, оставаясь обыкновенно по неделе и больше.

— Отлично сделала, что приехала! — хвалила она Людмилу Александровну. — По крайней мере, отдохнешь на деревенском приволье. У тебя глаза что-то нехороши и, вообще, усталый вид. Должно быть, сезон-то выдался из веселых? запрыгались? завертелась?

— Слишком, тетя!

— Значит, надоели люди, захотелось посидеть одной в уголке, монастыркою, и помолчать? Что же? Бог с тобою! Я не буду мешать тебе: по себе знаю, как это нужно и хорошо иной раз. Жизнь-то стала бестолковая, мысли быстрые, непоследовательные, спутанные, — вот и надо время от времени сказать своим мозгам: тпру! — упорядочить весь этот головной шум, разобраться в нем, ограничить его в систему. А уж лучше, чем у меня, заниматься таким делом нигде нельзя. Тихо. Ты посмотри в окно: какие ковры!.. «Снега белые, пушистые, вы покрыли поле все!..» Скучно станет — возьми бинокль: вон, там на опушке, по утрам зайцы скачут; лисица, случается, сверкнет красная, а то и серого волка Бог пошлет для развлечения. Они у нас тут, как собаки, бегают — просто беда. Еще вчера — среди белого дня — увели свинью у мужика. Презабавно! особенно пока не привыкла, по новости впечатления, — никакого балета не захочешь!.. Ну, вот тебе комната, вода, весь туалетный прибор... мойся, переодевайся и приходи обедать: стол накрыт. Ведь у нас рано едят: в полдень, по-деревенскому. Удобно и полезно. Всем бы советовала. Ах вообще, отдать бы тебя на месяц-другой опять в мои руки, — как бы я тебя выправила! Ты посмотри на меня, какой я здоровяк. А мне, Милочка, скоро шестьдесят. И еще говорят, что старые девки быстро дряхлеют!.. вот оно — что значит деревня-то — мои снега да зайцы...

Она удалилась, напевая на ходу:

— Снега белые, пушистые,

Вы покрыли поле все...

Одного лишь не покрыли вы

Горя черного мого... —

зазвенело в ответ в памяти Людмилы Александровны продолжение старинных стихов, и она пугливо отмахнулась от грустной их мелодии, точно от опасного пророчества. Проходил день за днем. Застывшая, тяжелая унылость Верховской сильно тревожила Елену Львовну.

— Что с тобой? Здоровая ли ты?

— Благодарю вас, тетя, не беспокойтесь, я совершенно здорова...

— Беда, что ли, какая-нибудь в доме? Зачем скрываешь?

— Все благополучно.

— Ах, Боже мой! здорова, все благополучно, а лицо — краше в гроб кладут. Нельзя так хандрить. Состаришься прежде времени. Я вот вчера у тебя на виске седой волос заметила. Посмотри в зеркало: на что похожа? желтая, вокруг глаз синева, pattes d'oie [21]... Когда это с тобою бывало?

— Годы, тетя.

— А! не говори глупостей... какие твои годы! Просто распустилась и сама себя старишь.

— Не для кого молодиться-то...

— Для самой себя надо. Распустившая себя женщина никуда не годится. Красота — это женское здоровье. А ты знаешь: «здоровая душа в здоровом теле». Если женщина запустила без ухода свою красоту, у нее скоро и душа будет запущена...

— Мораль: если хочешь быть образцом добродетели, не отходи по целым дням от зеркала!
— улыбнулась Людмила Александровна.

— Ну вот, хоть засмеялась, — и за то спасибо. А то я сама, глядя на тебя, чуть было не захандрила. Ты хоть на зайцев, в самом деле, смотрела бы: авось развеселят...

— Ох, тетя! «не милы мне ваши зайцы», — насильственно отшучивалась Людмила Александровна.

Втайне вопросы Елены Львовны заставляли ее трепетать.

Она размышляла:

«Если я даже от тети, в ее уединении, свободная от всяких подозрений, не в состоянии скрыть своего волнения, что же будет со мною в Москве? среди общества, возбужденного убийством одного из самых видных своих членов, страстно толкующего о подробностях преступления, жадно ожидающего поимки убийцы? Тетя, слепо преданная мне и менее всех способная предположить на моей совести черное дело, и та замечает, что я не такая, как прежде! Моя вина написана у меня на лице, и каждый прочтет ее. Должен прочесть, не может

не прочесть!»

Так, мало-помалу, она дошла до боязни, что бегство ее было напрасно, что ей все равно не спастись от гибели, потому что она — хочет не хочет — выдаст себя, выдаст непременно... чем хитрее будет прятаться, тем легче попадетсЯ. Вот появится подозрение у кого-либо из знакомых, вот оно распространится в обществе, дойдет до следователя; вот сыщики шаг за шагом раскроют ее alibi... вот полиция придет к ней в дом, застанет ее среди семьи, возьмет, увезет... Позор! Позор!

Воображая подобные картины, Людмила Александровна чувствовала себя близко к сумасшествию. Говорят, будто убийц преследуют призраки погибших жертв, будто им слышится предсмертное хрипение, чудится кровь, текущая из свежих ран. С Людмилою не было так... Было проще и хуже. Она не испытала галлюцинаций, не видела и не слышала никаких пугающих чудес. Ее воображение не было расстроено. Голова работала нормально, рассудок не изменял. Но убийство Ревизанова стало теперь для Людмилы Александровны главным событием жизни, целиком заполнило и навсегда отравило ее память. Словно непроницаемая стена поднялась между нею и прошлым; что ни делала Людмила Александровна, что ни думала она, преступление неизбежно стояло рядом, на все бросая свою грозную тень — ядовитую тень анчара. Когда Верховская искала в прошлом каких-либо давних событий, слов, мыслей — воспоминание давало желанные образы не прежде чем мимоходом, заново осветив пред нею, как молниею, картину убийства. И только эта картина жила в ее памяти безвыходно и прочно. Все остальные лишь гостили в ней — скользили, пролетали и исчезали; а эта держалась и жила, ясная, назойливая, суровая, как проклятие, черная, как тюрьма. И когда уже не надо было вспоминать, когда все воскресшие было образы опять уходили в даль, бледнели и угасали — одно лишь воспоминание... одно, ненужное, незваное, ненавистное чудовище — образ преступления — все не выходило из головы. Точно неумолимый ангел незримого мщения обвевал убийцу ледяными крылами, точно мертвый Ревизанов, невидимкою, неотступно следил за нею и, глядя прямо в ее душу, тихо, но внятно и беспрерывно звал ее к ответу... И Людмила Александровна, внимая беспощадно настойчивому зову, бледнела, путалась в мыслях и словах. А едва ей удавалось совладать с собою, являлась новая потребность воспоминания, — и вот опять блуждай в области недавнего ужаса, опять сталкивайся с роковою стеной, опять — в тысячный раз — переживай в одном мгновении все проклятие той ночи отчаяния!

«Так жить нельзя! это не жизнь и не смерть... Я умерла заживо и уже терплю загробные муки. Это чистилище какое-то! — терзалась Людмила Александровна в одиночестве своем, ломая холодные руки. — А между тем придется жить так, да, именно так, долго, долго... Зачем же затягивать срок невыносимой пытки, зачем не прекратить ее в самом начале? Стоит ли мне теперь жить? Человек, вздернутый палачом на дыбу, уже не думает о счастьее жизни; его счастье — умереть, перестать чувствовать жизнь, потому что это значит перестать чувствовать боль. Ну вот и я на дыбе, и останусь висеть на ней, пока жива, пока сознаю себя... И ни в жизни, ни в самосознании мне больше нет просвета; самоистязание, боязнь самой себя, стыд, вечный трепет, вечная ложь — вот вся моя будущность. Стоит ли, стоит ли жить ради подобного существования, задыхаться и метаться в такой агонии? Не лучше ли, не проще ли, вместо долгого, медленного умирания по частям, изо дня в день, сразу убрать себя со света и, прежде чем заморит меня нравственная каторга стыда и страха, в какую теперь превратилось мое существование, умереть по своей воле?..»

Убить себя?.. Но слишком страшно было недавнее зрелище насильственной смерти, слишком тяжелою раною запечатлелось оно в сердце Людмилы Александровны: раньше ей не случалось видеть близко, как умирают, и процесс смерти исполнил ее ужасом, когда она убедилась на деле, как легко осуществляется, как близко стоит смерть к человеку, точно выжидая у судьбы дозволения и сигнала на него наброситься. Взмах руки, и нет живого существа, остается труп... И все кончено!

Кончено ли?.. А там... дальше? Темно там. Что будет в грозной темноте? Пустота? Уничтожение? Ни движения, ни мысли?.. А если нет? Если и точно — Бог? в самом деле — суд и новая жизнь души, без тела, но с земною памятью, со всеми успевшими отразиться в ней земными страхами и впечатлениями, жизнь проклятой среди проклятых, жизнь призрака среди призраков, в обществе того — убитого ею и отверженного, как она? Людмила Александровна — всегда верующая — в первый раз, однако, поняла вполне, всею душою, насколько сильна в ней вера в Бога, теперь — когда вообразила себя перед Его судом и ужаснулась его.

И жить страшно, и страшно умереть. Смерть кажется то избавлением от страданий, забвением земли, то, наоборот, лишь первым шагом к истинным мукам, лишь началом наказания за прожитое земное, не более как порогом настоящего, высшего возмездия, — а теперь еще, здесь, по сию сторону порога, тянется пока подготовка к нему, здесь только преддверие... И если так мучительно стоять в этом преддверии, каких же грозных тайн ждать, когда откроются пред нею самые двери?

Колеблясь в волнениях — то готовая и счастливая умереть, то боясь смерти, как непостижимого прожорливого чудовища с черною, широко разверстою в жадном ожидании пастью, Людмила Александровна сама не знала, вставая утром с постели, будет ли она жива к вечеру; ложилась в постель ввечеру, не уверенная, что «одр не станет ей гробом». Жажда смерти подсказывала ей десятки планов, как легче, хитрее, искуснее убить себя, а жажда жизни горячо и насмешливо оспаривала все планы, доказывая их нелепую прозрачность: как все догадаются, из-за чего она покончила с собою, как выяснится связь между смертью ее и Ревизанова, и будет опозорена ее память, и на семью ее все-таки ляжет то самое пятно, от которого с таким самоотвержением защищала ее Людмила Александровна, чтобы избежать которого она и убила Ревизанова... И все-таки чем дальше длилась борьба, тем чаще и яснее победа оставалась за приманкою смерти. Так в зверинце кролик, брошенный в клетку боа, цепенеет под его взглядом и — любя жизнь — против воли тянется, однако, весь дрожащий, к чарующему его змею, упирается, но идет к нему — с отчаянием, шаг за шагом, пока не исчезает в его голодной пасти. Из всех планов воображение Людмилы Александровны приковалось сильнее всего к одному: возвращаясь в Москву, она постарается, на ходу поезда, упасть под колеса так, чтобы все приняли ее падение за несчастный случай, чтобы не возникло никаких толков о самоубийстве. До отъезда оставалось двое суток. Страх смерти не смягчался в сердце Верховской: оно было стеснено, словно совсем перестало разжиматься. Но решимость умереть держалась твердо. Загробная бездна и пугала, и манила — но уже больше манила, чем пугала...

XXII

Поздно вечером, в канун отъезда Людмилы Александровны из деревни, Елена Львовна получила залежавшиеся на станции московские газеты.

— Ах, какой ужас! Чем кончил! Чем кончил! — воскликнула она, едва развернув «Русские ведомости» и просматривая первую же заметку московской хроники.

— В чем ужас? Кто кончил? — хрипло отозвалась Верховская, едва шевеля побелевшими губами: она поняла, что тетка нашла что-нибудь о смерти Ревизанова...

Елена Львовна прочла вслух довольно подробный отчет... У Верховской застучало в висках: отчет показался ей — подробно знающей, как в действительности было дело, — вдвое обстоятельнее, чем составил его репортер. Преступление считалось несомненно преднамеренным — газета называла его «тонко обдуманном делом ума и рук, закаленных в

привычке к преступлению».

«Я пропала! Как много они уже знают! столько нитей оставлено, чтобы узнать все остальное!» — думала Верховская, страдальчески хмуря темные, мрачно сведенные одна к другой брови.

— Как ты бледна! — заметила Елена Львовна, передавая племяннице газету, — да и как не побледнеть?! Словно призрак из старого, забытого прошлого пронесся перед глазами. И в какой обстановке! Это страшно, Людмила! Дурной он был человек, а все же жаль... Упокой Господь его грешную душу! А земле он больше ничего не должен: за все расплатился своею кровью...

Верховская не слушала, приковавшись глазами к postscriptum'у отчета.

«Подозрение лиц, близких покойному, предугадывает виновницу этого, небывалого по дерзости, убийства в особе, довольно известной кругу наших спортсменов, как звездочке, одновременно освещающей горизонты местного цирка и *demi monde*» [22]... Особа эта пользовалась до последнего времени благосклонностью покойного, но за несколько дней до убийства между ними произошла крупная ссора, завершившаяся полным разрывом. Таким образом, мы, по-видимому, имеем в перспективе дело с интересною романической подкладкой. Подозреваемая узнана швейцаром отеля и уже арестована.

Итак, за нее может ответить другая женщина? Стоит ей промолчать, и эта... кто она? Верховская даже имени не знала, кого судьба бросает, вместо нее, под меч закона! — и эта незнакомка займет ее место на скамье подсудимых. Как все удобно и хорошо слагается! И снова, впервые после ночи убийства, — несчастной, безумной, преступной женщине вздохнулось широко и легко, точно волна в нее хлынула!.. Но вздохнула — и задохнулась вздохом... Молчать? Но ведь теперь молчать будет новым преступлением и хуже, в тысячу раз хуже первого. Ревизанова она убила по праву... нет, не по праву: права убивать ближнего нет у человека... Но если не по праву, то по естественному инстинкту — в отмщение за злую вину — и какую! Больше чем он, не может быть виноват мужчина перед женщиною.

«Он нападал — я защищалась. Он сулил сделать мне всякое зло, на какое способна любовь, обратившаяся в ненависть, и сделал. Он осквернил меня, поработил, оторвал от семьи, от детей... Его стоило убить, да и то я убила, лишь выведенная из себя до последнего, лишенная всякого самообладания, не помня себя, в отчаянии, потеряв самосознание, почти озверенная... А тут... сознательно предать на суд, позор и, может быть, осуждение невинную! Я даже не знаю, я никогда не видала ее, я даже имени, имени ее не знаю! Послать на страдание первую встречную — хладнокровно, без всякой вражды и злобы... Только потому, что пусть лучше другая страдает, чем я... Какая гадость! Какой жестокий звериный эгоизм!»

И то стыд делался в ней сильнее страха, то страх сильнее стыда. Она, как герой скандинавской сказки, стояла в бессильном раздумье, слушая, как две птицы — черная и белая — поют ей песни: одна злую, другая добрую; одна — учит самосохранению, другая — долгу и человеколюбию. Черная птица ей пела:

— Завтра ты умрешь... Страшнее смерти нет ничего на свете, но и у нее есть доброе качество: она все заглаживает и искупает. Кто умер, тот прав. Ты умрешь и тоже будешь права: ты расплатилась за себя. Неужели ты думаешь — твоя смерть недостаточная цена для выкупа и прежнего, и нового позора? Ведь не убьют же ее, эту незнакомку: ну, накажут, сошлют, да и то еще объяснят убийство ревностью, аффектом, смягчат приговор, пожалуй, еще совсем оправдают... Да если и осудят, все-таки жизнь-то, жизнь ей останется, жизнь, что всего дороже; а ведь ты умрешь. Неужели этого мало? Полно! это самоискушение! это бред!

Белая птица возражала:

— Все так. Но зачем же ты сама-то предпочитаешь даже смерть той жизни, которая ждет эту

несчастную? Зачем тогда умирать: живи, как придется жить ей, и наслаждайся этой жизнью. Или, по твоему суждению, жизнь бесчестная для тебя — годится для нее? Ведь она — пишут газеты — падшая: камелия, самка, тварь... И вот ты, счастливая преступница, ты умрешь «от случая», оплакиваемая, уважаемая, тебя похоронят с честью, незаслуженные похвалы и лесть раздадутся над могилой. А вся грязь, весь позор и ужас твоего дела, должны поразить тебя и только неправым счастьем, случайной, фальшивой подтасовкой обстоятельств отвлеченные от твоей головы, обрушатся на ту невинную? Ну что же? спасай себя и убивай ее! ей ведь все равно — не привыкать к позору. Она камелия, самка, тварь — что ей? уж заодно пусть идет и в каторгу... так ведь? не правда ли? И ты еще судишь! ты, продажная, как и она! ты... убийца.

XXIII

Людмила Александровна изменила свой план. Она села в вагон с твердым решением: «Я убью себя, но сперва объявлю свое преступление».

«Куда же идти мне? — размышляла Верховская, стоя в ожидании своих вещей, попавших в руки довольно неповоротливого артельщика, на платформе московского вокзала. — К судебному следователю. Кто он и где он живет?»

Она не знала.

Просто взять и подойти к первому городовому или вот хоть к этому бравому жандарму в медалях, который так важно и сурово расхаживает по платформе, и объявить ему: я убийца. Он, конечно, отведет ее в участок, но прежде поднимется шум, сбьется народ.

Каин сказал Богу: «От имени Твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В Людмиле Александровне проснулось наследие Каина: родился обычный недуг преступников — страх людей. Она живо вообразила: народ, при слове «убийца», озлобится, бросится на нее, станет бить — как знать, — пожалуй, истерзает, разорвет на куски... А то другое: ни городской, ни народ не поверят ей, сочтут ее пьяною или сумасшедшею, будут глумиться, хохотать. Нет! все, кроме уличной сцены; все, кроме толпы-свидетельницы! Еще она боялась, что, если ей не поверят по первому признанию, у нее не останется духа повторить его еще раз, — кроме личного признания, у нее нет улик на себя, и ее отпустят со срамом и советами лечиться. Ведь каждый раз, когда оглашается громкое преступление, находится столько мнимых преступников, воображающих, будто именно они-то его и совершили. Затем: если ей поверят и арестуют ее, как избежать суда? Как исполнить задуманное самоубийство? Ее посадят в одиночную, под караул: там не добыть ни ножа, ни револьвера, ни яду, ни веревки. Голодом разве покончить с собою? А хватит ли энергии на такую пытку? Эта желанная смерть так грозна: мигом, закрыв глаза, очертя голову, можно — хоть и с отчаянием в сердце — броситься в ее объятия. Но смотреть ей в лицо день за днем, из часа в час, из минуты в минуту... нет, не останется сил!

Артельщик привел Верховской извозчика. Она нерешительно села в сани и задумалась.

— Куда прикажете ехать? — нетерпеливо спросил извозчик.

Людмила Александровна сообразила, что он спрашивает ее уже не в первый раз, а она, в рассеянности, не отвечает, сконфузилась и заторопилась, — с губ ее сорвался адрес ее квартиры.

Дома никого не было, кроме прислуги. Степан Ильич еще не приходил из банка, дети учились.

Верховская одиноко бродила по пустой квартире, и все страшнее и страшнее становилась ей судьба ее, и жалость утратить дар жизни кралась в ее сердце тоскующею и ласковою змейкою. Она вошла в детскую; здесь каждая вещь наводила ее на воспоминания. Вот эту чернильницу подарила она Лиде, когда та перешла из седьмого класса, эту куклу — Леле, на именины. Как девочка была рада! Забыла, что уже хочет казаться взрослою барышней, — ей тогда исполнилось тринадцать лет, — кричала, прыгала, как коза...

Кабинет мужа, изящная, уютная комната... Восемнадцать лет тому назад Людмила Александровна, войдя в дом молодою хозяйкою, сама распорядилась здесь размещением мебели, книжных полок, картин, и Степану Ильичу так понравились устроенные женою уют и порядок, что ни одна вещь в этом красивом гнездышке не переменила своего места с того времени; что ветшало — поправлялось или заменялось новым, но порядок оставался тот же. Все те же декорации счастья, а самое счастье разбито; все то же тело, все те же формы домашнего кумира, хотя одушевлявшая его добрая сила угасла и померкла, ласковый гений любви и покоя отлетел.

Привычная атмосфера семейной тишины, довольства и мира охватила Верховскую и своюю мягкою прелестью гнала из души суровую решимость.

«Восемнадцать лет создавать себе счастье, создать и самой разрушить его! Ужасно!.. Ужасно!.. За что?!»

Часы указали Людмиле Александровне близость возвращения мужа и детей.

«Господи! Вот они вбегут в комнаты... обрадуются, зашумят, а я первым словом в ответ на их ласки: прости меня, Степан! простите, дети! Я опозорила вас, я — убийца Ревизанова!.. Побледнеют розовые личики детей, умолкнет резвый смех. „Мама! мама! Что ты с собою, что ты с нами сделала?!“ И опять — за что? за что?»

Закрыв глаза, она все-таки продолжала мысленными очами видеть перед собою их — свою семью; они разбежались от нее, прижались по углам, и она стоит одна, среди кабинета, бессильная, покинутая, жалкая.

«Но ведь будет всего один миг страдания: выстрел вот из этого револьвера, что лежит на столе у Степана Ильича, и я еще не успею оценить своего несчастья и сиротства, а пуля уже пробьет мое сердце: я не промахнусь...

А если промахнусь? Если затем последует не смерть, а только болезнь? Преступная и больная! Разбитая душа в разбитом теле... Отравленная совесть в израненной груди! Нет, лучше покончить теперь, без детей; спокойно, не торопясь, написать записку Степану Ильичу и...»

Она взялась за перо и снова оставила его, обуянная новым сомнением. Сомнения нарождались так быстро, в такой частой смене, и овладевали ею так повелительно, что она терялась — которое из них слушать. Едва нарастало одно, как из-за него уже выдвигалось черною тучею другое — и закрывало первое, заставляя забыть о нем свою новую внушительною важностью.

«А если они не поверят мне? У меня нет доказательств на себя. Теперь в ходу объяснять всякую странность аффектом, внезапным острым помешательством. Наконец, если и поверят, кто поручится мне — даст ли Степан Ильич ход записке, захочет ли он принять позор на свое имя? Он человек гуманный, честный, но — разве я не скрыла бы его преступления, будь он на моем месте? А ведь и про меня говорили, что я гуманная и честная!.. Уничтожить клочок бумаги недолго и нетрудно, и тогда та несчастная...»

Дети пришли.

Они ворвались, как и ожидала Людмила Александровна, шумно, радостно. Леля кричала: «Мама! Мама! Милая! солнышко!» — и висла у матери на шее. И мать инстинктивно прижимала ее к своему сердцу.

«Я мараю ее своим прикосновением! — скользнула ядовитая мысль в ее уме, но другая ответила: — Ну и пусть мараю, но я слишком ее люблю, я не властна не ласкать ее».

И она не оттолкнула девочку от себя и, осыпая ее ласками, одно мгновение ничего не помнила, кроме этих детей и долгого счастья, какое до сих пор давали они ей, а она им. А когда она опомнилась от восторгов первой встречи, было уже поздно. Она снова испытала на одну минуту, чем сладка жизнь, и радость семьи заглушила в ней голос справедливости. Долг смерти ушел куда-то далеко — во мрак, его породивший. Жизнь победила.

XXIV

Леони доказала свое alibi, и ее оставили в покое. Это отчасти умиротворило совесть Людмилы Александровны. Оставалось жить.

Жить — для семейного счастья, едва не ускользнувшего от нее. Она успела удержаться за край его — успела ценою малодушия, подлости, едва не перешедшей в новое преступление. Теперь надо было сберечь его. Оно могло рухнуть только с раскрытием тайны убийства. В относительно спокойные, рассудочные минуты, взвешивая свое положение, Верховская обстоятельно доказывала себе, что, если она сама не выдаст себя, убийство Ревизанова останется навсегда загадкой. А между тем тайная боязнь быть выслеженной всегда жила в ней, и охранение себя от этой опасности стало господствующею идеею всей ее жизни. Не судили люди — она судила себя сама. Не уличал суд — сама себя уличала и казнила. Кто-то сказал: если человек хочет сделать свою жизнь постылою, пусть наполнит ее, вместо всякого другого содержания, трепетом за свое существование и заботами самосохранения. Людмила Александровна тяжелым опытом проверяла справедливость этой мысли.

Подобно тому, как раньше преступление отравило ее прошлое и лишило ее воспоминаний, теперь оно мстило ей уже и в настоящем, просочившись незримым ядом в каждую подробность ее жизни. Вначале она ни словом не заикалась об убийстве, ставшем надолго и прочно предметом толков всей столицы; но когда она бралась за газету, она думала: «Нет ли новых известий по моему делу?» Когда спрашивала гостя: «Что нового?» — она и боялась, и ждала слышать новый акт или хоть явление следственной драмы. И если ей удавалось разузнать что-либо, ее воображение начинало работать над дальнейшими шагами следствия, вкрадчиво лепя сцену за сценой, подробность за подробностью. Так как она знала весь ход дела с начала до конца, то инстинктивно подсказывала себе эти шаги и терялась при сознании кажущейся легкости, с какою, по-видимому, раскрывалось преступление. Она забывала, что следовательно, если даже попадет на прямой путь, как она сама вела розыск в своем воображении, все-таки будет идти по нем с закрытыми глазами, на ощупь, и — сто шансов против одного, что ничего не добьется.

Она почти не спала. «Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце». Целые ночи пролеживала она навзничь, с широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что, проснись Степан Ильич и спроси жену: «Отчего ты не спишь?» — Людмила Александровна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу да советовал лечиться.

Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя

другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски простым в сравнении с ними, и все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу — и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют.

Елена Львовна, в бытность Людмилы Александровны в деревне, заметила своим материнским оком, что с племянницей творится что-то недоброе. Замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то — словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное.

— Перессорились они там, что ли, все? да из-за чего им? — недоумевала старуха. — Или, сохрани Бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?

Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась — кстати, надо было и по делам — в Москву.

Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве — точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпечаток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную, болезнь.

— И давно, Лидочка, началось это? — пыталась Елена Львовна старшую дочку Верховской.

— С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома: мы с Лелей были в гимназии, Митя тоже, папа на службе, в банке. Приходим, — обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить, и она тоже рада, целует нас, а потом бух!.. упала на ковер: истерика! хохочет, плачет, говорит бессвязно... Больше двух часов не приходила в себя.... Раньше этого никогда не было.

— В детстве случалось, — задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала: так мало было это в характере Верховской. Ей случалось много раз видеть Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни: когда опасно болели дети, когда, после одного колебания бумаг на бирже, Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы.

— Ты, Людмила, прелесть, когда беда над головою, — говорила она Верховской, — молодец-женщина. У тебя не нервы, а веревки! Жаль, что женщинам не дают орденов, а то уж выхлопотала бы я тебе «Георгия» за храбрость.

Лида продолжала:

— Вот с этого дня и нашло на маму. Ничем не можем угодить на нее: такая стала непостоянная. Приласкаешься к ней — недовольна: оставь, не надоедай; ты меня утомляешь! Оставишь ее в покое — обижается: ты меня не любишь, ты неблагодарная!.. Вы все неблагодарные! Если бы вы понимали все, что я для вас делаю... Неблагодарностью она всего чаще нас попрекает, — а разве мы неблагодарные? Мы на маму только что не молимся... Истерики у мамы каждый день... Но уж вчера было хуже всех дней: досталось от мамы и нам, и папе... И ведь из-за каких пустяков! Митя без спросу ушел в гости к Петру Дмитриевичу. Ах! разлюбила мама, совсем разлюбила Петра Дмитриевича! И в чем только он мог провиниться — не понимаю!.. Встречает его холодно, молчит при нем, едва отвечает на вопросы. А нам без него скучно: он веселый, смешной, добрый... Митя жаловался:

— Намедни, на именины, Петр Дмитриевич подарил мне револьвер, — тоже что было шума!

Елена Львовна улыбнулась:

— Ну, револьвер-то тебе и в самом деле лишний. Еще застрелишь себя нечаянно.

— Помилуйте, бабушка! Маленький я, что ли? Да я в тире пулю на пулю сажаю... Весь класс спросите. И маме известно. Совсем не потому!

— Раньше мама сама обещала ему подарить, — вставила Лида.

Митя подхватил:

— А тут рассердилась, что от Петра Дмитриевича, и отняла.

— В стол к себе заперла, — пояснила Лида. — Тоже говорит, что он себя застрелит.

— А я пулю на пулю... Вы, бабушка, попросите, чтобы отдала. А то я всему классу рассказал, что у меня револьвер... дразнить станут, что хвастаю. Да наконец не век мне быть гимназистом... Какой же я буду студент, если без револьвера?

XXV

Антипатия Людмилы Александровны к Синеву развилась с того дня, как умер следователь по особо важным делам, который первоначально вел дело об убийстве Ревизанова, и оно перешло к веселому родственнику Верховских. Он взялся за следствие горячо и рьяно, но вскоре — бесполезно прогулявшись по нескольким ложным следам — впал в уныние.

— Искушило меня это проклятое следствие! — жаловался он у Верховских. — Скажу вам: просто фантастическое дело! Ничего с ним не поделаешь: глупо, просто и, именно благодаря простоте и глупости, непроницаемо. Когда убийца хитрит и мудрит, он хоть какие-нибудь следы оставит, хоть в чем-нибудь прорвется. А тут — ничего! какая-то mademoiselle X. Y. Z. пришла, переночевала, воткнула человеку нож между ребер и затем преспокойно ушла. Не только не пряталась, но еще остановилась — дала рубль серебра швейцару. Нашли извозчика, с которым она уехала из гостиницы. И швейцар, и извозчик одинаково описывают ее наружность: Леони, вылитая Леони... И, однако, это была не она! Кто же? Черт знает что такое! Какой-то сатана в юбке или — чтобы быть вежливым с дамами, так как она хоть и прирезала Ревизанова, а все же дама, — скажем: Азраил, ангел смерти, в модной шляпке под вуалем...

— И вы точно потеряли всякую надежду открыть убийцу?

— Решительно. А славный бы случай отличиться. Выслужился бы!

Слова эти больно укололи Людмилу Александровну.

— Выслужиться чужою гибелью, чужим позором! Я считала вас добрее, Петр Дмитриевич! — сказала она, а думала про себя: «Не чужою — моею гибелью, не чужим — моим позором собираешься ты выслуживаться, мальчишка!»

Синев оправдывался:

— Что же мне прикажете делать, если мое ремесло такое — чтобы «ташшить и не пушшать»... Да где там? не выслужишься! это дело — такая путаница, что сам Вельзевул ногу сломит. Вы поймите: ушла она из гостиницы...

Людмила Александровна гневно остановила его:

— Петр Дмитриевич! вы уже двадцать раз терзали мои нервы этою трагедией... пощадите от двадцать первого...

— Вот! слышите, тетушка, как она меня пиявит? — пожаловался следователь Елене Львовне, сконфуженно разводя руками.

Старуха вступилась за Петра Дмитриевича:

— Милочка! потерпи, сделай милость: пусть расскажет... я-то ведь еще ничего не слыхала, мне интересно.

Синев весело вскочил с места:

— Людмила Александровна! высшая инстанция разрешает: я начинаю. Итак, mesdames, сообразите: ушла она из гостиницы...

Но Людмила Александровна с гневом встала с места.

— Как вы скучны! — И, резко двинув стулом, порывисто вышла из комнаты.

— Теперь уж, тетушка, не я, а вы виноваты... — пробормотал, смущенный этою выходкою, следователь.

Но Елена Львовна заставила его продолжать рассказ.

— Да!.. Ну-с, так вот: ушла она из гостиницы, — точно стакан воды выпила, села в сани — и поминай как звали! Извозчика мы замучили допросами, а толку нет. Довез, говорит, барышню до дома Лазарика на Петровке. Вошла в ворота — и как в воду канула! Двор-то проходной, в нем тысячи три народа живет, и народ все неважный: пролетарии, проститутки. Извозчик так и объясняет. Мы его спрашивали: не показалась ли, мол, тебе эта барышня странною — испуганною, взволнованною, что ли? «Нет, говорит, ничего, я — как дело было по-раннему то есть времени — так полагал, что гулящая... домой от полюбовника едет». Черт знает! иной раз мне становится досадно, что мы так легко отпустили эту Леони. Положим, она-то лично невиновна, но, может быть, есть за нею все-таки хоть какая-нибудь ниточка прикосновенности — малюсенькая, малюсенькая... А мне только бы за что-нибудь уцепиться.

— Леони... Вы часто поминаете это имя... это кто же такая?

— Француженка, содержанка покойного. Он сам говорил мне в тот вечер, что ждет ее ужинать t?te?-t?te... «Мы, говорит, в ссоре, надо помириться»... Вот тебе и помирились!

— В чем же вы затрудняетесь? Ваши подозрения...

— Гроша медного не стоят. Леони, как дважды два — четыре, доказала свое alibi. Она и не думала быть у Ревизанова, — он тут наврал что-то. Леони кутила всю ночь напролет в Стрельне с развеселой компанией — пальмы рубили, зеркала били, лошадей шампанским поили — все, как водится. Потом... ну, да, одним словом, мне известен весь ее curriculum vitae [23] до двенадцати часов утра шестого октября, когда Ревизанова нашли... готовым...

— Шестого? Это когда Людмила ко мне приехала? — раздумчиво спросила Алимова.

Петр Дмитриевич поправил:

— Виноват: она приехала к вам накануне — пятого.

— Шестого, Петр Дмитриевич! я отлично помню.

— Уверю вас: ошибаетесь! Я сам провожал Людмилу Александровну на вокзал, оттуда поехал в «Эрмитаж», встретил Ревизанова и запутался с ним на целый вечер... А ночью вся эта штука и случилась!

Елена Львовна долго молчала. Она отлично знала, что права, но природная осторожность, инстинктивно удержала ее от спора.

— Может быть... — согласилась она. — Да, да! конечно, вы правы. Память иногда мне изменяет. Старость не радость.

А сама думала:

«Никогда мне не изменяет память, и Людмила приехала ко мне шестого, а не пятого... Странно, странно! Надо выяснить, что это значит и где — если не у меня — могла она быть? Неужели у нее — бес вступил в ребро, и Людмила, моя Людмила, стала пошаливать от старого мужа? Не может быть... А впрочем — что мудреного? Женщина еще молодая, здоровая... Да еще Липка вечно при ней вертится... хороший пример для замужней женщины, нечего сказать. Ох, эта Липка! Много крови испортила она мне в моей жизни...

XXVI

Встречи с Синевым сделались для Людмилы Александровны тяжелою пыткой. Она и ненавидела его, и тянуло ее к разговорам с ним. Так тянет человека ходить по краю пропасти, хотя оборваться в нее для него страшнее всего на свете. И между ними лежала действительно пропасть, хотя знала о ее существовании одна Людмила Александровна, а Синеву и в голову не приходило ее подозревать. Уке при одном виде, при первом появлении Петра Дмитриевича в ее гостиной, бешенство загоралось где-то в глубине сердца Людмилы Александровны. Ей стоило больших усилий сдерживать себя и улыбаться Синеву, между тем как она вся пылала желанием броситься, вцепиться ногтями в его лицо и крикнуть:

— Выслуживайся, негодяй! Это я, я убила твоего Ревизанова.

И чем больше она замечала, что ненавидит Петра Дмитриевича несправедливо, чем больше стыдилась своей несправедливости, тем грознее разрасталось в ней, вопреки собственному ее желанию, чувство обиды и неприязни, инстинктивная антипатия преследуемой к преследующему, волка к гончей. Синев ничего не замечал. Честный малый по-прежнему дружески относился к кузине, и они не раз еще беседовали, в числе других эпизодов его службы, и о ревизановском деле. Верховская выслушивала предположения Синева, и все они представлялись ей нелепыми, натянутыми, потому что она слишком хорошо знала истину. Однажды ее охватила безумная дерзость. Она сказала Синеву:

— Вы, Петр Дмитриевич, говорите, будто это дело трудно именно потому, что просто и глупо. А вы попробуйте взглянуть на него, как не на вовсе дурацкое и случайное.

— То есть ввести в дело фантастического убийцу чуть не по профессии, bravo [24] в юбке, Спарафучиле женского пола? Мой предшественник уже потерпел фиаско на этом предположении. Нет, нет. Вообще, я чем больше вглядываюсь в обстоятельства убийства, тем дальше отстраняю от себя предположение преднамеренности, которого держался раньше. Это убийство внезапное, случайное — из ревности, из мести, по самозащите... ведь — извините! — свинья был покойник, не тем будь помянут!.. — но не подготовленное. Не знаю, зачем шла эта дама к Ревизанову — для свидания или для разрыва, — но несомненно не с тем, чтобы убивать, и убила неожиданно для себя. Она и оружия-то с собою не

принесла. Заколола его стилетом, который забыла в его спальне Леони.

— Я с вами согласна, — глухо отозвалась Людмила Александровна, потупив глаза, чтобы не выдать себя их диким блеском, — мне тоже кажется, что убийство это было делом, скорее, случая... может быть, необходимого, фатального, но все же случая, а не злого намерения... У вас, Петр Дмитриевич, нет твердой почвы под ногами, — вам все равно приходится бродить в тумане предположений. Хотите — вместе? Хотите, я расскажу вам, как я предполагаю это убийство?

— Сделайте одолжение... это очень интересно...

— Тогда слушайте. Вы знаете, что за человек был Ревизанов, — сами сейчас сказали. Знаете, как оскорблял и унижал он людей — и больше всех именно женщин... он относился к ним, как к рабыням, как к самкам, как укротитель к своему зверинцу, — опять же вы сами это говорите. Представьте теперь, что одна из его жертв бунтует. Она переутомлена изысканностью его издевательств, довольно их с нее. Но он неумолим, — именно потому, что она бунтует, что она смеет бороться против его власти. И он — не по любви... о нет! а просто по скверному чувству: ты моя раба, я твой царь и Бог, — гнет ее к земле, душит, отравляет ей каждую минуту жизни, держит ее под постоянным страхом... ну, хоть своих разоблачений, что ли. Представьте себе, что она — женщина семейная, уважаемая... и вот ей приходится при этом негодяе быть наложницею... хуже уличной женщины... ненавидеть и принадлежать... поймите, оцените это! И она хитрит с ним, покоряется ему, назначает свидание... и на свидании чаша ее терпения переполняется... и она убила его, а обстоятельства помогли ей скрыться. Что же, по-вашему, — когда вы знаете Ревизанова, — не могло так быть? не могла убить Ревизанова такая женщина? — женщина хотя бы вроде той несчастной, о которой когда-то вы сами рассказывали нам — при самом же Ревизанове — подобную же печальную историю?

Необычайно страстный тон Людмилы Александровны заинтересовал Синева.

«Что с нею? — подумал он и сам же себе ответил: — Эка развинтила себе нервы, барыня! Ни о чем не может говорить спокойно».

— Что же? — настаивала Людмила Александровна.

Синев пожал плечами:

— Это невозможно!

— Почему же?

— Да потому, что это французский роман... Какой же убийца — не профессиональный, конечно...

Верховская улыбнулась с сомнением:

— Как будто есть профессиональные убийцы!

— Есть, Людмила Александровна, в этом вы не сомневайтесь... Редко, но есть. Свет, голубушка, винегрет, составленный из весьма разнообразной гадости. Какой же убийца сумеет так хладнокровно рассуждать и действовать в виду своей окровавленной жертвы? Эх, Людмила Александровна! злодейства легки только у Ксавье де Монтепена, а на самом деле — вы понимаете: я могу быть судьей по этой части, у меня в переделке ух какие соколы бывали! — а на самом деле редкий злодей, свершив убийство, не теряется хоть на несколько мгновений до панического страха. Мне многие признавались, что первое побуждение после убийства — бежать. Бежать без оглядки, без смысла, без цели, лишь бы бежать! И с этим

побуждением приходится серьезно считаться, даже бороться.

Верховская устремила на Петра Дмитриевича загадочный взгляд.

— Ну, а Раскольников? — сказала она. — Думаю, что Достоевский не хуже вас знал душу преступника... Что же? преступление Раскольникова, по-вашему, было дурно задумано и исполнено? и... и скрыто?

— А чем же хорошо-то, если человек в конце концов сам пришел с повинною и, заметьте, не по доброй воле, а загнанный, как волк, по пятам — хорошим следователем-психологом? Нет, Людмила Александровна! Русские интеллигентные убийцы еще умеют иногда обдумать и ловко исполнить преступление, но укрыватели они совсем плохие. Совесть у них уж очень. Следствие их не съест — сами себя съедят.

Людмила Александровна уже не слушала его. Она думала:

«А я скрыла... ловко, рассудочно, расчетливо скрыла... и ни за что никогда себя не выдам... Ищи, ищи! за то тебе жалованье платят, чтобы ловить ветер в поле».

Но рядом с этою — торжествующею — ее томила другая, болезненная мысль:

«Да что же значит это мое проклятое или благословенное — уж сама не знаю — самообладание? Как? неужели он прав? неужели я холоднее — значит, хуже, безнравственнее, подлее всех убийц? Я? А!..»

И взгляд ее делался все острее и холоднее. И, презрительно усмехаясь, она прервала следователя язвительными словами:

— У вас мало фантазии; в вашем деле это большой порок. Вы никогда не выслужитесь, Петр Дмитриевич.

— Боюсь, что так, — печально сказал он.

XXVII

У Верховских были гости. В числе их Сердцевский. Писательским чутьем своим он угадал напряженную нервную атмосферу, сгустившуюся в их отравленном тайным ядом доме, и ему стало душно, как всегда душно здоровому, беспечальному человеку среди больных — жертв эпидемии, все равно: телесной или душевной. Он печально приглядывался своими орлиными глазами к хозяйке дома: давно знакомое, милое лицо Людмилы Александровны казалось ему новым, словно он впервые ее видел.

«Как ее перевернуло! — думал он, — что с нею? о, сколько в ней горя и обиды! И откуда взялось оно? кажется, все в порядке... а между тем — Боже мой, ведь это живая покойница. И это она, именно она — никто другой — очаг заразы уныния, которую я чувствую здесь в воздухе...»

— Здорова ли мама? — шепотом спросил он проходившего мимо Митю, притягивая его к себе за руку.

— Кажется, здорова... — возразил мальчик нерешительно.

— Да? А по-моему, дружок, нет и даже очень нет.

Митя замялся:

— Да и мы так думаем, Аркадий Николаевич, — шепнул он, — только ничего не можем поделаться с мамой. Она и слышать не хочет, что больна. До того дошло, что — спросишь: здорова ты? — сердится, вся вспыхнет... Вчера даже прикрикнула на меня: «Нечего мною заниматься! умру — успеете похоронить»... Эх!.. меня так и перевернуло: второй день забыть не могу...

Сердечкий выпустил руку юноши и обратился к женскому обществу, привлеченный частым упоминанием его имени.

— Ты не читала последнего романа Аркадия Николаевича? — удивлялась Олимпиада Алексеевна. — О, чудное чудо! о, дивное диво! Как же это сделалось? Прежде ты знала все его произведения еще в корректуре... за полчаса до пожара, что называется. Уж на что я лентяйка, а как только увидела в газетах имя Аркадия Николаевича, сейчас же послала в библиотеку за журналом.

— Не успела, — защищалась Людмила Александровна, — я в последнее время почти ничего не читаю... времени нет.

— Помилуй! — уличила ее Ратасова. — В твоём будуаре целые горы книг. И знаешь ли? Я удивляюсь твоему вкусу. Дело Ласенера, дело Тропмана, Ландсберга, Сарры Беккер — что тебе за охота волновать свое воображение такими ужасами? Брр... брр... брр... меня бы все эти покойники по ночам кусать приходили!

— Вот начитаетесь всяких страстей, а потом и не спите по ночам, — нравоучительно вставил Синев.

Верховская резко обернулась к нему:

— Кто вам сказал, что я не сплю по ночам?

— Степан Ильич, конечно.

Людмила Александровна закусила губу; щеки ее разгорелись, глаза забегали...

— Степан Ильич сам не знает, что говорит. Ему нравится воображать меня больной и в своих заботах о моем здоровье он так скучен, так надоедлив...

— Но зачем же горячиться, Милочка? — остановила ее Елена Львовна.

Синев, который нахмурился было, расправил брови, махнул рукою и засмеялся.

— Вот-с, не угодно ли вам полюбоваться? — пожаловался он полушепотом Сердечкому. — Теперь она со мною всегда этак-то, в таком милом тоне.

Людмила Александровна услышала и подошла к ним.

— Что вы сочиняете? — искусственно удивилась она.

Синев даже руками всплеснул:

— Сочиняю? Нет извините. Жаловаться так жаловаться. Мне от вас житья нет. Вы на меня смотрите, как строфокамит на мышь пустыни: ам! — и нет меня!.. Главное, ума не приложу: за что?.. Ведь я невинен, как новорожденный кролик! Думал сперва: за Митю. Каюсь, Аркадий Николаевич, — виноват: поддразнивал Вениамина Людмилы Александровны. Липочка вздумала, видите ли, строить ему глазки... ну, как же было мне не распустить язык по такому

соблазнительному случаю?

Людмила Александровна обрадовалась, что он сам подсказывает ей путь, как выйти из затруднения.

— А мне было неприятно, — мальчик впечатлительный, с мягким сердцем, увлекающийся... — уже кротче заметила она. — Зачем портить его? волновать его воображение, вбивать в голову Бог знает что...

— Кузина! Вы имеете резон. Но я вам давным-давно принес публичное покаяние по этой части и вот уже два месяца, как держу свой язык на привязи. Больше того: сам же усовещивал Липу, чтобы она не совращала юношу с тропы классического благоразумия... Олимпиада Алексеевна! неувядаемая тетушка! — вскричал он, — пожалуйста сюда. Засвидетельствуйте, какими филиппиками громил я вас в последний раз, за завтраком...

— И сколько красного вина при этом выпил! ужас! — откликнулась Ратисова.

— Ага! Вы слышали, афиняне?! Помилуйте! До того ли мне теперь? Что мне Гекуба и что я Гекубе? Ревизановское дело поглотило меня целиком, как кит Иону.

Олимпиада Алексеевна зажала уши:

— Ах, ради Бога, не надо об этом деле... его слишком, слишком много в этом доме.

Людмила Александровна ответила ей мертвым, потерянным взглядом:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Олимпиада Алексеевна права, — вмешалась Елена Львовна. — Я вполне понимаю, что смерть человека, издавна знакомого, да еще такая внезапная — ведь кажется, он еще накануне обедал у вас, господа? — может на некоторое время выбить круг его друзей и знакомых из обычной колеи. Но всякому интересу бывает предел; иначе он переходит уже в болезненную нервность...

— И ее-то вы находите во мне? — засмеялась Верховская. — Успокойтесь: дело меня интересует, но не до такой степени, как вы воображаете.

— Ну, это — как тебе сказать? — усомнилась Ратисова. — Оглянись: твой дом полон этим делом; я видела твои газеты; ты отметила в них красным карандашом все, что касается ревизановского убийства. Знакомые приезжают к вам словно для того только, чтобы говорить о Ревизанове; о чем бы ни начался разговор, ты в конце концов сводишь его к этой ужасной теме.

Людмила Александровна спокойно возразила:

— Однако сейчас свела его ты, а не я. А интересом к этому делу меня заразил Петр Дмитриевич. Сам же он, на первых шагах, все советовался со мною.

— Что правда, то правда, — слегка смутился Синева.

«Эта толстая Олимпиада, в сущности, права, — размышлял Сердецкий, едучи от Верховских к себе на Девичье поле. — Ревизановского убийства слишком много в доме моих славных Верховских. Не знаю, какое отношение могут они иметь к этому грустному событию, но какое-то есть. Так подробно и постоянно не интересуются совершенно чужим делом. Людмила Александровна как будто что-то знает и скрывает... Что же, однако?»

И Сердецкий, наедине с самим собою, расхохотался:

— Уж не она ли, эта таинственная незнакомка, этот bravo в юбке, как пишут в газетах?.. Ха-ха-ха!.. Вот была бы история!.. и — главное — как это на нее, прелестную мою, похоже! Придет же в голову такая нелепость... хотя бы даже и в шутку. Но что-то она прячет в себе — прячет от всех, даже... даже от меня. И что-то тяжелое, скверное, ядовитое... Жаль ее, бедную, жаль!.. Эх, судьба, судьба!.. В подобные минуты мне как-то особенно грустно, что она развела нас с такою обидною бестолковостью. Как-то кажется: вот была бы Людмила мою, — ничего бы дурного и грустного и не было... А ведь — как знать? Может быть, и еще хуже было бы. Самоуверенничать-то нечего... Молчи, старик, притихни!.. Эх-эх-эх! когда же я, старый черт, любить-то ее перестану?

XXVIII

Дни бежали. Елена Львовна уехала обратно в деревню, не добившись толку от племянницы и простясь с нею за это довольно холодно. Людмила Александровна чувствовала за собою вину — видела, что тетка ждет от нее откровенности, но правды открыть, конечно, не могла, а солгать не умела.

— Что мне выдумать на себя? что ей сказать? — металась она. — Любовь, что ли, какую-нибудь сочинить... Да ведь не выйдет ничего: она всю жизнь читала в моей душе, как в книге, — сразу заметит, что я обманываю.

Провожая Елену Львовну на вокзал, Верховская все как будто порывалась заговорить с нею о чем-то, но всякий раз смущенно осекалась на первом же слове, так что старуха, утомленная ее нервною суевливостью, под конец прикрикнула на нее:

— Да будет тебе корчиться, как береста на огне! Ну — не удостоена твоим доверием, прячешь от меня что-то, и не надо мне твоих секретов. Молчи! и — главное — не терзайся, пожалуйста, из-за этого угрызениями совести... Этакая мнительная женщина: просто смотреть досадно!

— Да нет, я ничего, я ничего... — забормотала Верховская.

— Только смотри, Людмила! — строго продолжала Елена Львовна. — В тайны твои лезть я не хочу — секретничай, пожалуй. Но — раз ты прячешь их от меня, нехороши, должно быть, твои тайны! Так помни: если я, помимо тебя, узнаю что-нибудь темное, нехорошее — помни, не прощу. Ты что-то дуришь! Опомнись, возьми себя в руки, — не для себя ведь живешь... уже не молоденькая... уже у тебя муж, дети.

Верховская отвечала тетке какою-то жалкою улыбкою.

— Да, да... муж, дети... не беспокойтесь за меня, тетя: это я помню хорошо, всегда помню. А что вы думаете, будто я не откровенна с вами, — не стану спорить: может быть, сознаюсь, есть немножко... Но теперь еще рано, а когда будет можно, я вам все сама скажу — как в детстве... помните?

«Так и есть: любовник и собирается расходиться с мужем», — мелькнуло в голове Елены Львовны. Взгляд ее стал еще строже. Она пожевала губами и сухо сказала:

— Хорошо, я буду ждать. Что же? Ведь не в последний раз видимся...

«Нет, нет, — думала Людмила Александровна, возвращаясь домой. — Мы именно в последний раз виделись. Веревка лопнула — ее не связать без узла. Прощай, моя дорогая тетя! Я тебя потеряла... и так, человека за человеком, растеряю всех, всех...»

Когда Аркадию Николаевичу Сердецкому хотелось хорошо и много работать, он уезжал из Москвы к кому-либо из своих деревенских друзей и там — «вдали от шума городского и от вседневной суеты» — писал по целым дням, пока не сходил с него трудовой стих. Теперь ему оказывала гостеприимство старуха Алимова. Он жил в ее имении уже третью неделю. Первый вопрос его возвратившейся хозяйке был о Людмиле Александровне. Алимова только рукою махнула. Аркадий Николаевич омрачился:

— И по-прежнему этот неестественный интерес к ревизановскому делу?

— Представьте, да.

— Раздражение против Петра Дмитриевича, ссоры с детьми и мужем?

— Да, да, да.

— Гм...

Аркадий Николаевич долго ходил по комнате, теребя свои густые седины. А Елена Львовна говорила:

— Уж позвольте быть с вами откровенною. Покаюсь вам: никогда я не имела о Людмиле дурных мыслей, а сейчас начинаю подозревать, — не закружил ли ее какой-нибудь фронт? Знаете: седина в голову — бес в ребро.

Сердечкий молчал.

— Только — при чем тут ревизановское дело? — продолжала Алимова. — Ума не приложу. А есть у нее какой-то осадок в душе от этой проклятой истории — это вы правы: есть. И много тут странностей. Представьте вы себе: когда она гостила у меня в деревне — хоть бы словом обмолвилась, что Ревизанов возобновил с ними знакомство, обедал у них и у Ратисовой... Затем... не следовало бы рассказывать, — ну, да вы свой человек, вы, после меня, любите Милочку больше всех... Так уж я вам все, как попу на духу... Синев Петя уверяет, будто Людмила выехала ко мне пятого числа, то есть накануне дня, как был убит тот несчастный; между тем у меня в календаре приезд ее записан под шестым... я отлично помню.

— Все врут календари! — насильственно улыбнулся Сердечкий.

Совпадение этого обстоятельства с его подозрениями озадачило его. Старуха энергично потрясла головою:

— Нет, мой не врет. Вы знаете, как я аккуратна.

— Но в таком случае... Людмила Александровна либо почему-то ехала к вам вместо четырех часов целые сутки, либо провела эти сутки неизвестно где?

— Выходит, что так....

— Вы не пробовали спрашивать ее об этом?

— Нет.

— Почему?

Елена Львовна опустила глаза:

— Страшно, Аркадий Николаевич, сказала же я вам. А вдруг она ответит что-нибудь такое... Каково будет слушать мне, старухе? Ведь она мне не чужая.

Сердечкий вздохнул и почесал себе переносье.

— В делах, подобных ревизановскому, — начал он, — мне всегда страшно одно: судебная ошибка... чтобы не пострадал невинный человек. Эта Леони... камелия эта, арестованная сначала... какой опасности она подвергалась!

Елена Львовна зорко смотрела на него.

— Но ведь ее выпустили, — сухо сказала она, — что же ее жалеть?

— Дело не кончено. Не Леони, так другую заподозрят...

— Аркадий Николаевич! Да ведь надо же найти наконец, кто виноват?!

Сердечкий долго молчал и наконец, глядя в другую сторону, отозвался глухим голосом:

— Да, Елена Львовна! надо найти, кто виноват! И меня изумляет и огорчает: зачем Людмила Александровна не хочет помочь этим поискам?

Елена Львовна шумно поднялась с места:

— Людмила?!

— Да, да, Людмила, десять, сто, тысячу раз Людмила, — раздраженно заторопился Сердечкий.

— Вы... вы думаете...

— Я ничего не думаю, — остановил ее литератор, — я только пробую разные предположения, строю хоть сколько-нибудь возможные системы... Ревизанов когда-то считался женихом Людмилы Александровны... Скажите, Елена Львовна, не обижаясь напрасно за нашу общую любимицу: вы не думаете, что старая любовь не ржавеет? и что... тьфу, черт! как трудно говорить о подобных вещах, когда дело касается близкого человека...

— Я понимаю вас, Аркадий Николаевич, — печально сказала Елена Львовна. — Но — нет! Ревизанов был слишком противен Людмиле, она его ненавидела...

— Вот именно, как вы изволили выразиться, он был ей уж как-то с_л_и_ш_к_о_м противен, точно напоказ... Под такую откровенную ненависть очень часто таится скрытая влюбленность... А ведь покойный был — надо же признаться — мужчина обаятельный и, кроме того, нахал великий: обстоятельство весьма важное. Донжуаны его типа видят женщину насквозь и показных ненавистей не боятся. Они умеют ловить момент. Сейчас — негодяй! мерзавец! презренный! А через минуту — случится чувственный порыв да подвернулись своевременно мужские объятия, дерзкие, безудержные, — глядь, вот тебе на! и уже не негодяй, а милый, хороший, прекрасный...

— Следовательно, по вашему мнению...

— По моему мнению, Ревизанов увлек Людмилу Александровну; между ними, вероятно, были свидания; и... и тогда объясняется, где провела она свои таинственные сутки, когда ее не было ни дома, ни у вас в деревне...

Елена Львовна сурово молчала.

— Не похоже все это на Людмилу, — сказала она наконец тихо, с сомнением в голосе.

Литератор пожал плечами:

— А между тем все данные говорят за мое предположение. И ее таинственное исчезновение, и этот посмертный интерес к человеку, которого она будто бы ненавидела, и удрученное состояние, небывалая замкнутость в самой себе, очень похожая на раскаяние, на поздние угрызения совести...

Елена Львовна вздрогнула.

— В чем? — быстро вскрикнула она, бледнея.

Сердечкий, не глядя, ответил странным, протяжным голосом:

— Как в чем? Да разве может легко отозваться падение на такой женщине, как Людмила Александровна?

У Елены Львовны отлегло от сердца, и краска возвратилась на лицо ее.

— Да... вы вот о чем, — пролепетала она.

А он говорил, делая вид, что не замечает ее волнения.

— Сдается мне, что они — Ревизанов и Людмила Александровна — виделись в ночь пред тем, как этот несчастный был зарезан...

— Но ведь в таком случае!.. — вскричала Елена Львовна.

— Что? — холодно спросил Сердечкий.

— В таком случае, — пролепетала Алимova, — ее могут... тоже... подозревать...

Длилось долгое молчание, прежде чем Сердечкий заговорил снова.

— Подозревать Людмилу Александровну в убийстве Ревизанова, — сказал он решительно, — конечно, бессмысленно. Я думаю проще. В вечер перед убийством она имела с ним свидание...

— Когда? Официант Иоган служил ему, и он был один еще в двенадцатом часу ночи.

— Разве не приезжают на свидания и позже двенадцати часов? Они расстались, Людмила поехала в деревню к вам, а Ревизанов был тою же ночью зарезан.

— Кем, Аркадий Николаевич? кем? Ведь уже установлено, что убийца — дама!

— Господи помилуй! Установлено... Да кто же это установил? Непогрешимые какие!.. Потому что дама была у Ревизанова в ночь его смерти, — так дама и зарезала его непременно? А если дама эта ушла, да не затворила за собой дверей, да, вместо нее, вошел первый попавшийся лакей или жилец гостиницы и покончил с Андреем Яковлевичем?.. Ведь даже трудно установить, был он ограблен или нет... Почем знать, сколько было у него денег с собою?.. А разве уж обязательно: если убийство с грабежом, то вор должен обобрать с жертвы все деньги, часы, цепочку, перстни? Зачем? Цапнул из бумажника несколько пачек кредиток — и готово: обеспечен на всю жизнь, только беги да не попадайся. Нет, что Людмила Александровна причастна к смерти Ревизанова, — этому я не верю и этого не предполагаю. Но что она была с ним в близких отношениях и могла бы лучше, чем кто-либо, о_д_н_а она могла бы дать сведения о его предсмертных часах и таким образом бросить хоть слабый луч света на это темное дело — вот в чем я, наоборот, почти уверен.

Елена Львовна сидела, нерешительно разводя руками.

— Не могу поверить, не могу вообразить... Связь, возобновленная после восемнадцати лет...

и если бы вы знали, как резко была она порвана, при каких тяжелых обстоятельствах! Если Людмила когда-либо кого ненавидела, так это именно покойного, и имела основание: он стоил ненависти, потому что поступил с нею очень гнусно...

— «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»... Забыли?

— Да и ему-то что за неволя была за нею гоняться? Он — избалованный Дон-Жуан, а она уже не первой молодости...

— А прихоть? Да и что вы говорите: избалованный... не первой молодости. Людмила до сих пор красавица — на какой угодно избалованный вкус. А этих пресыщенных прихотников я знаю. Подобный господин способен преследовать женщину даже без всякой любви, а просто потому, что вот оригинально: потому, что она Верховская, что у нее чудная репутация, прекрасные взрослые дети, что она не имеет и никогда не имела любовника, и есть свинское блаженство осквернить все это, растоптать, залить грязью...

— Не верю, Аркадий Николаевич... Представить себе не могу.

Оба замолчали.

— А впрочем, — тяжело вздохнула Алимova, — все бывает... все! враг горами качает. У меня-то, пожалуй, больше, чем у всех других, оснований поверить вашему объяснению. Может быть, и так в самом деле: и впрямь согрешила, а теперь казнится... Эх, горе, горе, горе — слабость наша женская!

XXIX

Олимпиада Александровна Ратисова сильно закружилась в зимнем сезоне. Судьба ниспослала веселой грешнице в дар какого-то необыкновенно лохматого пианиста, одаренного, как говорили знатоки, великим музыкальным талантом, но еще большим — пить шампанское, по востребованию, когда и сколько угодно, оставаясь, что называется, ни в одном глазу. Как ни вынослив был злополучный Иосаф, однако на этот раз не выдержал: супруга афишировала свой новый роман уж слишком откровенно. Он сделал Олимпиаде Алексеевне страшную сцену, на которую в ответ, кроме хохота, ничего получить не удостоился — и уехал в самарское имение дуться на жену... По отъезде мужа Олимпиада совсем сорвалась с цепи: к пианисту она скоро охладела, но его заменил скрипач; скрипача — присяжный поверенный; поверенного — молодой, входящий в моду, женский врач...

— Как хотите, тетушка, а это уж слишком! — возмущался ее подвигами Синев, с которым она откровенничала по-прежнему. — Ну, пошалили — и будет! Надо же когда-нибудь и честь знать.

Ратисова лукаво смотрела на него:

— А зачем?

— Как зачем?..

— Да так: вот ответь мне, пожалуйста, прямо и определенно: зачем мне твою честь знать?

— Да не мою, а вашу — свою собственную!

— Эва! А ты слышал Пашу-цыганку?

— Ну-с?

— Так у нее песенка была:

Кому какое дело,

Что с кумом я сидела?

Ну, кому какое дело

До чужого тела?!

— Но, помилуйте... ведь про вас весь город кричит...

— И пусть кричит. Если кричит, значит, у него есть голос. Ему же лучше.

— Да ведь Мессалиною вас ругают.

— «Лавры Мессалины не давали ей спать!» — комически декламировала Олимпиада Алексеевна.

— Черт знает что такое, — рассердился Синева, — эдакого прямолинейного беспутства я и не видывал!

— А ты моралист, моралист, моралист! — хохотала Ратисова. — И это идет к тебе, как к корове седло... Пей-ка лучше вино да благодари своего ангела, что я тебя еще не запутала, аскет ты лицемерный, самозванный святой!

— Ну, уж это вы — ах, оставьте! Я не из вашей оперы...

— Ой ли?

— Верно-с.

— Ах, Петька, Петька...

— Нечего дразнить. Не воображайте себя всемирною победительницей.

— Ишь самомненьице-то какое! думает, что надо быть всемирною победительницей, чтобы увлечь его — великого и остроумнейшего в мире следователя Синева. Ну, а вот такую другую руку ты видел когда-нибудь?

— Ммм...

— Хороша?

— Сами знаете, что хороша, — лучше не бывает. Чего же спрашивать?

— Ага! А у меня, по милости Божией, их две!.. И красивее их — ты верно говоришь — нет во всей Москве. И вот, если придет мне фантазия, да сейчас, на этом самом месте, я брошусь тебе на шею и обйму тебя этими руками, — что же, ты Иосифа прекрасного будешь разыгрывать?..

— Ммм...

— То-то «mmm»... Помычи, помычи! это иногда у вас, мужчин, выходит умнее и выразительнее, чем все ваше мудрые речи... Следовательно, не смей читать мне нотации и молись всем угодникам, чтобы в меня не влюбиться... Si tu ne m'aimes ras, je t'aite; mais si je t'aime, prends garde a toi! [25] Так и знай: влюбишься — измучу!

Людмила Александровна тоже пробовала выговаривать разнуздавшейся красавице, но Олимпиада Алексеевна с умоляющим видом сложила руки:

— Милочка! Не суди, да не судима будешь...

Верховская вздрогнула, а Олимпиада продолжала:

— Ну — что? Кому надо? Ведь это последнее племя: доживаю свой век. Доживу — и кончено. Уйду в благотворительность, что ли, стану дамою-патронессою, в монастыри буду вклады делать, воздуха вышивать. Такое лицемерие на себя напущу — чертям тошно будет. Знаешь поговорку: «Когда черт стареет, он идет в монахи». Так и я. И — среди святой жизни — много-много, что припасу себе где-нибудь за границую какого-нибудь тореадора! Одного — всего одного! Экономического по состоянию: тогда ведь это будет уже денег стоить...

После столь бесплодного разговора, к общему удивлению, Людмила Александровна, обыкновенно крайне строгая к похождениям своей подруги, теперь, когда похождения эти превысили последнюю меру терпимости, не осуждала ее ни одним словом и даже останавливала, когда на Ратисову принимались негодовать Синев или Степан Ильич.

— Оставьте Липу в покое. Ведь не переделаете вы ее. Не врождено ей быть — как это у Пушкина-то? — «мужу верною супругою и добродетельною матерью». А раз не врождено — не научите. Против природы не пойдешь.

— Милочка! да ведь безобразно, скверно, бессовестно... Совесть в ней, совесть пробудить надо! — волновался Степан Ильич.

— Совесть? — тоскливо возразила Людмила Александровна. — А какая польза будет, если в ней проснется совесть? Теперь она весела, счастлива, довольна, а тогда — одною унылою и печальною Магдалиною будет больше в Москве — только и всего...

— Людмила Александровна! — воскликнул удивленный Синев. — Что это вы? с подобными парадоксами можно, извините меня, черт знает куда уйти... Если сегодня хорошо, чтобы совесть спала, то завтра, пожалуй, покажется еще лучше, чтобы ее вовсе не было.

Людмила Александровна гневно оборвала его:

— Не мне отрицать совесть, Петр Дмитриевич. Я всю жизнь прожила по совести. Вы приписываете мне мысли, которых я не имела. Я сказала только, что когда у кого совесть не чиста, то счастлив он, если ее не чувствует. Вот что. И если совесть грызет душу, я... не знаю... мне кажется... можно пуститься на что хотите — на пьянство, на разврат, только бы не слышать ее, только бы забыться. Липа — счастливица. Она грешит, даже не подозревая, что она грешница. Ну, и оставьте ее. Это ей надо для ее счастья, — пусть будет счастлива...

— Помилуйте, Людмила Александровна. По вашей логике — другому понадобится для того, чтобы чувствовать себя счастливым, людей убивать... что же? пусть убивает?

Людмила Александровна, с гневной морщинкою на лбу, сделала резкое движение.

— Убивать, убивать — все убивать!.. — пренебрежительно сказала она. — Как вы скучны с вашими убийствами, Петр Дмитриевич!.. Вы не умеете спорить иначе, как ударяясь в крайности, на которые сразу не найдешь, что отвечать...

Аркадий Николаевич, у себя в домике на Девичьем поле, читал присланную ему из типографии корректуру... Было уже около полуночи, когда ему послышался звонок. Он отворил дверь кабинета:

— Телеграмма?

И отступил в удивлении: пред ним стояла Людмила Александровна.

— Простите... я на минутку... — отрывисто сказала она, — я... не буду мешать... сейчас уйду...

— Бог с вами, Людмила Александровна! — вскричал Сердецкий. — Как вы можете мне мешать?! Я Бог знает как рад, что вам пришло в голову навестить меня, отшельника. Я только не ждал вас в такую позднюю пору — оттого, может быть, и сделал большие глаза... Присаживайтесь к столику, я угощу вас чаем... Ну-с? как ребята, Степан Ильич? все благополучно?

Людмила Александровна не отвечала. Она глядела на Сердцецкого в упор, но как будто не на него, а дальше его, сквозь него. На ней лица не было. Сердецкий пригляделся к ней и замолк. Сердце у него екнуло: он понял, что Людмила Александровна пришла к нему неспроста... И оба они молчали — одна бессильная начать речь, другой и выжидая, и боясь: что-то она ему скажет?

И вот Людмила Александровна решительно подняла голову и — уставясь в Сердцецкого блестящими глазами, ярко засверкавшими на белом как мел лице, — произнесла тихо, ясно и отчетливо:

— Я пришла к вам, потому что мне больше не к кому было идти, а оставаться одной стало не под силу. Поискала кругом: всех либо ненавижу, либо боюсь... Всех растеряла, все — далеки. И Степан, и дети, и тетя Елена — все... Вы один остались как-то не чужой мне... Вот и пришла... Послушайте...

Она задохнулась и долго боролась с удушьем, стиснувшем ей горло. Потом, с новым усилием, выговорила:

— Послушайте... это я убила Ревизанова... тогда... в ночь с пятого на шестое... Да... Дайте мне воды!.. ради Бога, скорее!..

Расплескивая воду, она поднесла стакан к губам. Сердецкий, побледнев больше ее самой, скорбно стоял перед нею, сложив руки, точно на молитву, трясая своею серебряною сединою.

— Я знал это, — шептал он. — Я чувствовал, предполагал что-нибудь в этом роде... Ах, несчастная, несчастная!

Верховская продолжала:

— Он... мучил меня... издевался надо мною... грозил мне нашею прошлою любовью. Ведь я, Аркадий Николаевич, была его, совсем его!.. Помните, как я спрашивала вас, что делать человеку, когда заведется у него мучительная тайна?.. Вот какая моя тайна была!.. Он хотел, чтобы я его опять любила... была рабой... он Ми... Митю своим сыном хотел объ... объявить... у него письма были... доказательства. Я не стерпела... вот... убила... вот... вот...

и... и не знаю, что теперь делать с собою?

— Несчастливая, несчастная! — полусознательно повторил Аркадий Николаевич.

— Не знаю, что делать, не знаю... Думаю и ничего не могу придумать... Ах! — она схватилась за голову. — Что тут выдумаешь, когда, рядом с каждой мыслью, поднимаются образы этой ночи... Там... красная комната, а он на ковре, бледный, холодный, а на лице — вопрос... Не узнал смерти... не понял, что умирает... О, подлец, подлец! Как он меня позорил!

Испуганный ее безумным взглядом, Сердечкий порывисто взял ее за руки и усадил в кресло.

— Не смотрите так, Людмила. Что вы видите? Что вам чудится?

— Нет, вы не бойтесь, — искусственно улыбнулась она, и страшна вышла ее улыбка, — я не галлюцинатка... до этого еще не дошла, — Бог милует... У меня только мысль больная, память больная... Помнится, думается, — ни на минуту не отпускает меня...

— Чужало мое сердце недоброе, — сказал Аркадий Николаевич голосом, в котором трепетали слезы, — ждал я беды, только все же не такой!.. Господи! Что же это? гром на голову! с ясного неба гром... Милочка! Милочка! что вы, бедная, с собою сделали?!

Она его не слушала. Порыв долго замкнутого чувства не знал удержу и выливался в быстрой, отрывистой речи, как река, сломавшая плотину.

— Я убить себя хотела... Хотела пойти к Синеву, во всем признаться... жалко! детей жалко... я их от позора спасти хотела, а вместо того вдвое опозорила! Дети убийцы!.. Когда я стояла там — у трупа... О, друг мой... последний друг! Если бы я могла ценой своей жизни возратить жизнь ему... моему врагу... я не отступила бы перед жертвой. Страшен был позор, но лучше бы мне перенести десять новых посмеяний, лишь бы не убивать: вы — художник, писатель — вы даже не подозреваете, как это ужасно — убить человека. Я поняла проклятие Каина, я несу его на себе... я... я всех людей боюсь, Аркадий Николаевич! Я... даже вас боюсь в эту минуту. — И она бросилась к нему, хватая его за руки. — Друг мой! я вам все сказала честно, как брату... Помните же! Я вам верю — и вы будьте мне верны до конца. Не выдавайте меня!

Она металась, как плотница на крючке, выброшенная на береговой песок.

— Бог с вами, несчастная! — успокаивал Сердечкий, тронутый, расстроенный, силясь снова усадить ее. — Мне ли выдавать вас — мое дитя, мое сокровище?.. мою единую, единую любимую за всю жизнь? Ох, горько, страшно горько мне, Людмила!

— Этот Синев... — шептала Людмила Александровна, — вы замечаете? он недаром так много разговаривает со мною о ревизановском деле, он что-нибудь пронюхал... ищейка... Я его ненавижу, Аркадий Николаевич!

— Ничего он не знает и не узнает... вы вне подозрений, Людмила! Кроме совести и Бога, у вас не будет судей...

— Я его ненавижу, — решительно возразила она. — Он слишком близок к этому делу. Я знаю, что он ничем не виноват предо мною, но он — моя судьба, слепая, неумолимая, и я его ненавижу. Когда он бывает умен, красноречив, я холодею от ужаса перед ним: он кажется мне слишком светлою головою, чтобы не разобраться в моем деле. Порою, особенно если он заводит речь о своих следственных хитростях, он падает в моих глазах, представляется мне близоруким, тупым, пошлым, смешно самоуверенным человеком, и я презираю его, а все-таки боюсь!

— Вы, как вошли, сейчас же сказали мне, — начал Аркадий Николаевич после долгого

размышления, — что все вам чужие, всех вы либо ненавидите, либо боитесь, то есть, значит, опять-таки ненавидите... Господи! как это развилось у вас, прежде такой многолюбивой? когда успело? откуда взялось?!

— Откуда? — Людмила Александровна болезненно улынулась, точно на детский вопрос.

— Относительно Синева — куда ни шло, я, пожалуй, еще понимаю ваши чувства. Он, хоть и невольно, и слепо, все же держит в своих руках вашу судьбу... Но ваши домашние? дети? Неужели и к ним у вас то же печальное отношение? Они все жалуются, что вы страшно изменились к ним.

— Дети... — горько отозвалась Верховская, — дети! Ах, Аркадий Николаевич! дети — горе мое. Для них я все это сделала. Хотела оставить им чистое, как хрусталь, имя... а теперь, после этого дела... я разлюбила детей, друг мой!

— Разлюбила детей? да как же? за что?

— Ах, друг мой! больно мне... Ведь я для них больше чем кусок живого мяса из груди вырезала, я всю себя, как ножом, испластала. Душа болит, сердце болит, тело болит... мочи нет терпеть!.. Тоска, страх, боль эта — свет мне застыл. Я вижу то, чего нет, а того, что есть, не вижу... Перестала удовлетворять меня семья; жалко найденное в ней счастье. А ведь, спасая это мизерное счастье, я и погубила себя... Стоило, нечего сказать!

— Вы несправедливы к семье, Людмила.

— Может быть. Они здоровы, я больная... Когда же больные бывают справедливы к здоровым? Я завидую им, завидую Степану Ильичу, завидую Синеву, вам... Счастливые, спокойные люди с чистой совестью! Вы хорошо спите ночью, вы не подозреваете врага в каждом человеке, не ищете полицейских крючков в каждом вопросе... Злюсь — говорят: «У тебя характер испортился... ты несносна»... Да, и злюсь, и испортился характер, и несносна! Но ведь... если бы они знали и поняли мою жертву — они бы должны были ноги целовать у меня!..

— А вы решились бы сказать им? — холодно и строго спросил Аркадий Николаевич.

Она поспешно и испуганно вскрикнула:

— Никогда!

— На что же вы жалуетесь, в таком случае?

— Я знаю, что не имею права жаловаться, — но разве измученный человек заботится о правах? Одна я, Аркадий Николаевич, одна, в то время как мне много любви надо, чтобы хоть как-нибудь жить, — одна я пропаду без любви. Я привыкла много любить и быть любимой; в том и жизнь свою полагала. А вот теперь, когда мне нужна любовь, я одна... Тяжко, горько, обидно!

XXXI

Она поникла головою; потом встрепенулась и снова заговорила:

— Слушайте!.. может быть, ужасно, что мне так тяжелы люди, но ведь я начала ненавидеть свою не с них, а с себя самой. Я возненавидела себя уже пред убийством, потому что пошла

на сделку с Ревизановым — все равно что стала продажной женщиной; возненавидела еще больше после убийства, потому стала подлою: струсила, не решилась понести за свой грех заслуженную кару, личным благополучием заплатить за свое искупление. Под этим двойным упреком я невыносимо страдала. Бывали минуты, когда мои нравственные терзания — казалось мне — превышали меру заслуженного возмездия, и мне становилось жаль себя, и моя ненависть к себе незаметно переходила на других. Первым ее предметом — вы знаете почему — оказался Синев. Мало-помалу я стала так же враждебно относиться почти ко всем. Помимо моей все возрастающей подозрительности, мне сделалось уже недостаточным мое «семейное счастье». Лишь во имя его я совершила грех и приняла на себя казнь. Раз оно — вся награда моих страданий, оно должно быть полною наградой. Каждый недочет в семейных отношениях, которого прежде я и не заметила бы, теперь ножом вонзается в мое сердце. Если муж приходит домой не в духе, дети менее ласковы, чем обыкновенно, — моя болезненная чувствительность подсказывает мне в таких случаях крайне тонкие, иной раз, может быть, и небывалые оттенки, — меня осаждают беспокойные мысли: что же это? Как все скучно, грязно, неблагодарно... И такую-то я должна принимать жизнь? и это-то я предпочла всеискупляющей смерти? Нечего сказать, стоило! Сперва я сдерживалась. Потом стала высказываться. Но... я не смею выяснить вслух общую причину моего раздражения, поводы же, конечно, всегда пустяковые — какие подскажет хозяйство, неудачная отметка в балльнике Мити или дочерей... Гнев по домашним поводам — всегда гнев из-за придирок. Я вам расскажу... Неделю тому назад — я сделала дома сцену... самую резкую из всех, какие были. Началось по ничтожному случаю: Митя без спросу налил себе стакан вина за ужином и довольно резко ответил мне, — когда я ему заметила это, — что он уж, видите ли, не маленький. Синев у нас ужинал, стал заступаться за Митю... Я вспыхнула... чего я не наговорила, чего не накричала!.. Ужас, отвратительно!

Она закрыла лицо руками.

— Ну, да что уж... Горькие слова, сказанные мною Синеву, мужу и детям, до сих пор в моей памяти. Обыкновенно, после каждой вспышки, мною овладевал стыд за свое поведение. В этот же раз — нет; озлобление не улеглось. С ним легла я в постель, с ним проснулась на другой день, с ним, как с тяжелым камнем на сердце, прожила целую неделю. Сегодня вечером Синев рассматривал, от нечего делать, альбом с нашими семейными фотографиями. «Славная эта ваша группа с детками!» — заметил он. Я взглянула, сказала «да» — и вдруг... в то самое время, Аркадий Николаевич, в то самое время, как я с материнской нежностью в глазах, с ласковой улыбкой на губах, — любящую мамашу напоказ, — произнесла это «да», — в то время, как в соседней комнате раздавались смех и говор детей, которые улыбались мне с портрета, — в душе моей вихрем пронеслась мысль: «А! они счастливы, неблагодарные! они болтают, смеются, они — чужие мукам моей совести... А за них-то я и осудила себя на муки, для них и живу хуже, чем в каторге. Неблагодарные! будь они прокляты!» И, вслед за этим позорным проклятием моим, у меня оборвалось сердце. Я поняла, что для меня все кончено, что я изжила свою жизнь. Раз я узнала ненависть даже к детям, — к ним, которые недавно были мне неизмеримо дороже самой себя, — незачем и бременить собою землю. Надо уйти с нее... А умирать не хочется, Аркадий Николаевич! Жизнь, хоть жизнь раздавленного червяка, все же лучше могильного мрака... О, как темно там, холодно, страшно... полно неизвестности!

Она умолкла. Потом пристально, с вызовом, взглянула на Сердецкого:

— Теперь вы знаете все... судите меня... кляните!..

— Полно вам, Людмила Александровна, — грустно отозвался Сердецкий, — где мне судить, за что клясть? Дело ваше ужасно, но судьбою вашим я быть не могу. Я вас слишком давно и слишком крепко люблю! Жалеть да молчать — вот что мне осталось.

— А мне?

Он молчал, безнадежно разводя руками.

— Да не умирать же мне... не умирать же, в самом деле! — раздирающим криком вырвалось у нее.

Он молчал. Верховская с горечью отвернулась от него.

— Я пришла к вам... к другу, сердцеведу, писателю, потому что сама не знаю, что мне с собою сделать. Я на вас надеялась, что вы мне подскажете... А вы... — Она гневно закусила губу.

— Молитесь! — глухо сказал Сердечкий. Людмила Александровна отчаянно мотнула головою:

— А! молилась я!.. Еще страшнее стало... «Не убий!» — забыли вы, Аркадий Николаевич?

Она опустила вуаль — потом опять ее подняла и подошла к Сердечкому:

— Больше вы ничего мне не скажете?

— Ах, Людмила!..

— Послушайте... — глаза ее чудно блистали, — пускай я буду гадкая, ужасная, но ведь имела я, имела право убить его? ведь...

Аркадий Николаевич прямо взглянул ей в глаза и твердо ответил:

— Да, имели.

Она — как под внезапную волну счастья — пошатнулась, выпрямилась, согнулась, выпрямилась, вертела пред собою беспорядочными руками, красная лицом, сверкающая восторгом нечаянной радости:

— А... Благодарю вас... благодарю...

Сердечкий шептал:

— Одним вы виноваты предо мною: зачем молчали? Об одном жалею, что вы это сделали, а не я за вас.

Она приблизилась к нему — грустная, робкая, нежная, стыдливая.

— Я, может быть, противна вам?.. А, не перебивайте, я понимаю это... Это не от вас зависит, это инстинктивно бывает... ведь кровь на мне... Но вы не презираете меня — нет? не правда ли?

Он просто ответил:

— Я вас люблю, как любил всю жизнь.

Людмила Александровна печально усмехнулась:

— Да, всю жизнь... А знаете ли? ведь и я вас любила когда-то... Да! О, глупая, глупая! Может быть — если бы... а! что толковать! Снявши голову, по волосам не плачут.

Она взяла Сердечкого за голову и поцеловала его в губы.

— Это в первый и последний раз между нами, голубчик, — скачала она и смеясь, и плача. —

Прощайте. Это вам — от покойницы. И больше меня не любите: не стою!

Встревоженный Сердецкий бросился вслед за Людмилой Александровной:

— Что вы хотите сделать с собою? Она остановилась:

— Не бойтесь за меня. Говорят вам: я не хочу умирать — боюсь. Я буду цепляться за жизнь, пока можно... А какими средствами? — не все ли равно, не все ли равно?

XXXII

Степан Ильич Верховский просто не знал, что думать о своей жене. Его всегдашняя антипатия к Олимпиаде Алексеевне Ратисовой выросла более чем когда-либо. Между тем Людмила Александровна, словно назло, сходилась с нею — день ото дня — все теснее и теснее. Точно повторялись детские годы, когда Липа Станищева безраздельно командовала Милочкой Рахмановой. Степан Ильич хмурился, дулся, готовился вмешаться, однако его останавливало пока одно обстоятельство: в постоянном обществе жизнерадостной грешницы Людмила Александровна как будто ожила и повеселела... Стоило ей нахмуриться, Липа тормошила ее:

— «Что так задумчива, что так печальна»? Опять киснешь? Жаль. Право, мне тебя жаль. Годы наши не девичьи, летят быстро. Чутьочку еще — и старость. А ты теряешь золотое время на хандру... есть ли смысл? С самого утра хоть бы разок улыбнулась! Что это? Кого собираешься хоронить?

— Себя, Липа, — мрачно возразила Верховская.

Олимпиада Алексеевна залилась хохотом:

— Ой, как страшно! Что же? тебе в ночи видение было? Это случается.

Верховская вздохнула:

— Да, видение... тяжелый, ужасный сон...

— Объялась на ночь, вот и все, — практически решила Ратисова. — Я тяжелые сны только на масленице вижу, после блинов, а то все веселые. Будто я Перикола, а Пикилло — Мазини. Будто в меня Пушкинский монумент влюблен, — что-нибудь эдакое. Тебя проветрить надо. Ты дома засиделась. Я из тебя живо вытрясу хандру. Ты на жизнь-то полегче гляди. Что серьезиться? Все трын-трава.

— Трын-трава? — качая головою, улыбалась Людмила Александровна.

— Уж поверь мне. Видала ты меня печальною? Никогда. Злая бываю, а грустить — была охота! С какой стати? Разве у нас какие-нибудь Удольфские тайны на душе, змеи за сердце сосут?

— А если бы... тайны и змеи?

— Я бы их — под сюркуп. Я бы так закружилась, чтобы и подумать о них было некогда. Мало ли веселого дела на свете? Утром — к Мюру и Мерелизу: раз! Потом смотри в афишу: есть в манеже гулянье? На гулянье! Нет? — к Ноеву на каток. За обедом часа три просидела в веселом обществе — глядь, восемь часов! пора в оперетку либо в оперу. Оттуда на тройке

ужинать в Стрельну. Вернулась домой: какие тут тайны и змеи? устала до смерти, стоя спишь, только бы добраться до подушки; от шампанского в голове шумит... Если бы и это не помогло, я бы нового любовника завела, за границу бы поехала с милым дружкой — да! Змеи подождали бы, подождали, пока я дамся им на съедение, а потом плюнули бы на меня и уползли...

— Оставив тебя оплеванной? — горько усмехнулась Людмила Александровна.

— Ах, матушка! На всякое чихание не наздравствуешься. Либо жить человеком, либо самоедом... вот как ты теперь на себя напустила. Я уж и то смеялась давеча Петьке Синеву: что он ищет рукавицы, когда они за пазухой? Приглядишься, говорю, к Людмиле: какой тебе еще надо убийцы? Лицо — точно она вот-вот сейчас в семи душах повинится...

Людмила Александровна остановила ее с побелевшим лицом:

— Не шути этим! не шути! не смей шутить!

— Э! от слова не станется! — захохотала веселая дама, но та твердила, как дурочка:

— Не шути! Это... это страшно... Ты не знаешь!

Посмотрела на нее Олимпиада Алексеевна — только головой покачала:

— Эка трагедию ты на себя напустила! Даже по Москве разговор о тебе пошел. Намедни встречаю княгиню Настю Латвину... ну, знаешь ее язычок! Бритва! А что, спрашивает, Липочка: правда это, что ваша приятельница Верховская была влюблена в покойного Ревизанова и теперь облеклась по нем в траур?

Людмилу Александровну так и шатнуло. Искры закружились пред глазами. В ушах зазвенело.

— Я в него? — крикнула она, так что отзвякнули хрустальные подвески на люстре и канделябрах. — В этого... изверга?... Да как она смела?! Как ты смеешь?!

— Пожалуйста, не кричи, — обиделась Ратисова. — Во-первых, я ничего не смею, а во-вторых... я все смею! не закажешь! Княгине я за тебя отпела, конечно. Ну, а влюбиться в Ревизанова — что тут особенного? Да мне о нем Леони такое порассказала... ну-ну! Я чуть не растаяла — честное слово. И этакого-то милого человека уколошила какая-то дура!.. Не понимаю я этих романических убийств! За что? кому какая корысть? Мужчины хоть и подлецы немножко, а народ хороший. Не будь их на свете, я бы, пожалуй, в монастырь пошла.

XXXIII

На Святках Олимпиада Алексеевна пригласила гостить к себе в подмосковную всю семью Верховских и Синева — в последнее время неразлучного своего спутника.

— Отчего это у Петра Дмитриевича такой сконфуженный вид? — тревожно расспрашивала Людмила Александровна Олимпиаду Алексеевну, летя с нею в быстрых санках по укатанной дороге от железнодорожной станции к имению Ратисовых.

— А что?

— Да он почему-то сторонится от меня, смотрит как-то смущенно: не то дуется, не то боится.

— И впрямь боится, — весело возразила Олимпиада Алексеевна. — Я тебе скажу, в чем

дело. Откровенно говоря, я его, глупого, завертела — вот до сих пор. Он и сторонится от тебя, — боится, что ты догадаешься и намылишь ему хорошенько голову. Уж он просил меня — просил: «Главное, осторожнее с Людмилой Александровной! главное, она не догадалась бы! Если она узнает — другие мне безразличны, но если она — я сгорю от стыда на месте»... А я ему в ответ чувствительную реплику из «Отелло» — Баттистини:

О, ангел Дездемона,

Любовь мы нашу скроем...

Бесится. «Вам все шутки и смешки, а для меня уважение этой женщины — все равно что собственная совесть». — «Ах, милый друг, — говорю, — все это прекрасно, уважай ее, сколько хочешь, но зачем же от нее — в знак уважения — под куст-то прятаться?»

— Боже мой! И бедный Петя туда же. Да это эпидемия какая-то! — невольно рассмеялась Верховская. — Ты не женщина, Липа, а любовная зараза.

— Поголовная мобилизация, душенька! Пожалуйста, господа мужчины, к отправлению воинской повинности! — самодовольно возразила Ратисова.

— Бедный, бедный Петя! Зачем он тебе понадобился, Липа?

— А так — здорово живешь. Главное: в наказание. Уж очень любит мораль читать... Вот и пусть теперь — что ругал, тому и поработает!.. Знаем мы этих моралистов! Вчера весь вечер валялся в ногах — умолял сказать, что у меня к нему: каприз или страсть до гроба... Ну, как не до гроба! Если бы всех до гроба любить, я уж и не знаю, сколько мне гробов понадобится.

— И весело тебе с ним?

— Когда же мне бывает скучно? Он — ничего, довольно забавный! Хотя ведь это ненадолго: скоро скиснет — чересчур серьезно берет... Удивительный народ русские мужчины! совсем не умеют поддерживать легких отношений. Чуть интрига затянулась на две недели, уже и бесконечная любовь, и унылое лицо, и ревность, и револьверные разговоры...

— Счастливица ты, Липа!

— А тебе кто мешает быть счастливою? Живи, как я, — и будешь, как я.

— И снов не буду видеть?

— Уж это, матушка, не от нас зависит. Кому как дано.

— А если я именно от снов бегу? Именно снов не хочу больше? То-то вот и есть, Липа... Молчишь? Снов только мертвые не видят.

— Не к ночи будь сказано, — недовольно кивнула ей подруга. — Охота тебе.

— Чем дольше я живу, — рассуждала Людмила Александровна, — тем больше убеждаюсь, что люди клеветают на смерть, когда представляют ее ужасною, жестокою, врагом человека. Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть — ласковый ангел. Она исцеляет раны и болезни... Она защищает от жизни... Жизнь обвиняет, а она придет — обнимет и простит...

— Ну что уж! — вздохнула Олимпиада. — Известное дело: мертвым телом хоть забор подпирай. Да все-таки что радости? Брось, пожалуйста! Терпеть не могу! Для меня все эти

философии в одну песенку укладываются:

Мы пить будем,
Мы гулять будем,
Когда смерть придет,
Помирать будем!

Гуляем, Людмила!

Людмила Александровна засмеялась. Липа зорко взглянула на нее:

— Нечего смеяться. Говорю тебе: вся хандра от черной думы и, стало быть, надо жить так, чтобы времени не было ни для черной, ни для белой думы — и будешь спокойна и довольна... Я не знаю, что с тобою делается, но ты мне не нравишься. Будь моя воля, я бы взяла тебя в руки, смахнула бы с тебя дурь.

— По твоей программе? да, Липа? — перебила Людмила Александровна. — Вечный праздник? — оперетка, Стрельна...

— Да хоть и Стрельна... Вечный праздник, милая, занятнее вечных похорон.

— Электричество, пальмы, цыгане... Ха-ха-ха! С кем же мы будем исполнять твою программу? не вдвоем же, Липа?

— Мало ли знакомых... Петька вон есть налицо... Олина прихватим. Знаешь, приват-доцента этого. Он ведь только притворяется ученым и серьезным, а в душе — ух какой вивер... и ты ему — между нами будь сказано — очень нравишься. А у него есть вкус, у черта. Его три недели Отеро любила.

— Польщена и благодарю. Значит, пожалуй, и роман завести? да, Липа?

— Отчего и романа не завести? При старом муже... разве это грех?

Людмила Александровна перебила ее, все смеясь:

— И за границу уехать с любовником? на воды... или уже прямо в Монте-Карло, к игорному столу? Там впечатления как будто острее — правда?

Олимпиада Алексеевна подозрительно покосилась на нее:

— То есть — убей ты меня, а я ничего не понимаю, что с тобой творится. Так всю и дергает.

Людмила Александровна продолжала с диким экстазом:

— И все забудется? да, Липа? Все? Как водой смоем?

— Чему забываться-то?

— Так там чему бы ни было!

— Разумеется, забудется. Средство верное, испробованное.

— Ха-ха-ха! Тогда о чем же рассуждать? Руку, Липа! Я твоя по гроб! — как требует от тебя Петя Синев.

— Дуришь ты, Мила. Впрочем, на здоровье: все же лучше дурить, чем киснуть.

Сани летели.

— Липа! — окликнула Людмила Александровна подругу — странным изменившимся голосом.

— Что?

— Тебе никогда не приходило в голову, что все это мерзость?

— Что?

— Что ты мне советуешь.

— Нет... зачем? — искренно удивилась Ратисова.

— Что, может быть, смерть — и та лучше такого забвения?

— Очень мне нужно расстраивать себя пустяками! Мне свое спокойствие и здоровье всего дороже.

— Правда, правда, Липа!.. не думая, лучше... Ха-ха-ха!

Людмила Александровна смеялась всю дорогу, но Олимпиада Алексеевна не вторила ей. Она думала:

«Скажите, как развеселилась! жаль только, веселье-то твое на истерику похоже... Чудновато что-то! Ох уж эти мне нервные натуры! Напустят на себя неопределенность чувств и казнятся. Зачем? Кому надо? Терпеть не могу!» И вдруг, внезапным вдохновением, осенила ее бабья догадка.

— Мила!

— Ну?

— Ты, может быть, в самом деле, уже... того?

— Что?

— Что! Что! Известно что! Спуталась, что ли, с кем? Так скажи, чем в одиночку казнить-то...

Людмила Александровна долго смотрела на нее, не понимая и стараясь понять, а та говорила:

— Слава Богу, подруги... Ты скажи! Я и посоветую, и помогу. Дело женское... Если и ребенок...

Людмила Александровна наконец поняла ее и захохотала в лицо ей звуком, который смутил бы всякого человека, хоть немного более чуткого, чем Олимпиада: так пусто и дико звенел этот бессознательный, лишенный разума смех.

— Этого еще не доставало! — вырвалось у нее. — Ах, ничтожество!

Олимпиада же самодовольно твердила:

— Все будет шито и крыто. Двух своих мужей водила за нос и чужого могу. Я на секреты не женщина — могила.

Хохот Людмилы Александровны переходил в истерику. Она душила его, уткнувшись в муфту. И сквозь дикие, как икота, вскрики, скользили безумные слова:

— Нет, Липа... Ох, насмешила... Нет... Нет... Нет... Спасибо!.. Ты — могила не для меня... Я найду себе другую!.. Ох!.. другую!

В деревне было весело всем, кроме Людмилы Александровны, но она показывала вид, будто ей веселее всех. Много деревенских развлечений перепробовали гости, наконец устроили катанье на коньках. Река Пахра, на которой стоит имение Ратисовых, благодаря запруде, довольно широка и глубока в этом месте. Катались в прекрасный солнечный день. Накануне сильный ветер сдул сухой мелкий снег с поверхности реки, и на далекое пространство легла блестящая ледяная скатерть между белых берегов.

— Направо не забирайте, господа, — там есть полынья! — предупредила Липа. — Видите? елочки поставлены.

Сажень в десяти от господ стояла, опершись на коромысло, худая подщипанная бабенка в синей кофте. Набрав воды в железные ведра, она, с унылым любопытством, глазела на барскую потеху.

— Где это — полынья? там, где баба с ведрами? — спросил кто-то.

— Нет, то прорубь.

И вот Людмила Александровна летит по катку. Давно уже опередила она всю свою компанию, далеко за ней слышатся крики и смех безуспешно догоняющих ее друзей. Ей хорошо... В уме нет ни воспоминаний, ни иных представлений, кроме впечатлений минуты: сухой морозный воздух, блеск солнца и сияние льда, захватывающая быстрота бега.

— Людмила Александровна! Людмила Александровна! — долетел к ней тревожный оклик Синева, и она увидела у своих ног черную дыру, осененную тощей еловой веткой. На секунду она остановилась... осела, покачнулась назад. Потом словно невидимая сила толкнула ее вперед... Глупое от испуга бабье лицо мелькнуло в ее глазах, руки в синих штопаных рукавах замахали в воздухе, кто-то взвизгнул... Серебряный всплеск ледяной воды, страшный холод — как обжог во всем теле...

Но сильные мужские руки уже схватили ее за плечи и выхватили в обмороке из проруби.

К вечеру у нее открылось воспаление в легких.

XXXIV

Firenze, Fiesole [26]

188* апрель

«Милый, дорогой, хороший Аркадий Николаевич! Дорогой, последний, единственный друг — единственный, с кем тянет меня поговорить в мои предсмертные часы.

Да, милый, умираю. И — скоро, скоро. Доктор утешает и ободряет — но я по глазам его вижу, что он лжет. А — главное — сама чувствую, что выкашляла свои легкие. Я почти не кашляю уже — я как будто здорова. Я знаю, что это значит: это здоровье смерти. Умру одна... далеко от своих, от родины, на чужой стороне.

Вокруг меня — юг, прекрасный, цветущий, всеисцеляющий юг. Все здесь дышит жизнью: убогие поправляются, больные выздоравливают, здоровые еще более расцветают. Я одна слабею с каждым днем... Моя хозяйка, добрая синьора Лючия, уже перестала и спрашивать меня о здоровье: видно, боится встретиться со словом „смерть“ и вчуже испугаться. Они такие жизнелюбивые, эти тосканки! Умираю... а за окном весна: солнце блещет, магнолии цветут, песни слышатся, мандолины бренчат... Ах, тяжело!

Но все же — спасибо ему, спасибо югу! Он вырвал мою душу из грозного, ожесточенного одиночества и поставил меня лицом к лицу с дивным собеседником — своею могучею природою. И силой, и миром наполняют мою душу ее немые речи, и призраки мрачного прошлого бледнеют в присутствии ее вечной красоты. Я полюбила юг, и с тех пор, как у меня снова есть что любить, мне легче. Я по-прежнему презираю себя, по-прежнему боюсь людей — лишь в твоих объятиях мне не обидно за себя и не страшно никого, о святая, всепримиряющая мать-природа! Ты — великая, ты — бесстрастная; пред тобою нет ни дурного, ни хорошего! Зло и добро ты одинаково спокойно высылаешь в мир из своих таинственных недр и равнодушно принимаешь их, слепо исполнивших задачу своего бытия, обратно. Я твоя! прими же меня, отжившую!

Из окон моей виллы я вижу гору. Высоко поднимается по террасам ее, словно с неба упавший, городок Fiesole, но гора, в могучем порыве к небу, обгоняет его веселые строения и, отдав людским жилищам свои уступы, царит над ними зеленою вершиною. Томные кипарисные рощи и белые полосы тропинок испестрили ее скаты. На крутом гребне горы добрый человек поставил каменную скамью и начертал на ней: „Путник англичанин — братьям-путникам всех стран“. Сколько раз я отдыхала на этой скамье, задумчиво вглядываясь в широкую даль. Небо синее, спокойное, глубоко-прозрачное — надо мною и вокруг меня. Горы Каррары, Пизы, белая полоса ливорнского побережья неясными намеками рисуются, сквозь голубоватый туман, на далеком горизонте, а внизу почти у моих ног кипит жизнью Флоренция, тянется, изрезанная мостами, зеленая лента Арно; красные лучи заходящего солнца играют на гигантском куполе Cattedrale [27], кладут золото и румяна на его черную тучу. Там я бываю наедине с небом — наедине с Богом. Ave Maria [28]... звон колокольчика и рокот органа в нагорной обители францисканцев... Я чувствую близость Бога и трепещу, но не страшусь ее: суди меня, Всесильный! — меня, много грешившую и много терпевшую! Я готова и спокойна... Жизнь изжита; пора — хочу смерти! И там — на этой заоблачной вышке, где мне бывало так хорошо — там желала бы я уснуть навеки!

Прощайте, голубчик, Аркадий Николаевич! Спасибо вам — за все, за все! Если на том свете встретимся, нам не в чем упрекнуть друг друга... не о многих я могу сказать то же самое, не многие и обо мне это скажут, когда и для них — как завтра или послезавтра для меня — смерть сделает явным все тайное. Обо мне будут плакать... Бедный Степан! бедные дети!.. Но мне не надо слез: не стою. За детей я не боюсь и не страдаю: они остаются в лучших руках, чем были бы для них мои — такой, как я стала. Бедные, бедные! стыдно мне: много они из-за меня натерпелись. Да, слез мне не надо... и вы не плачьте обо мне — вы, знавший меня лучше всех людей! Все к лучшему на свете. Человек приходит в мир и уходит из мира, слепо исполняя темное предопределение, и все, что творит он между рождением и смертью, решено и сотворено раньше его.

Опять звон, опять орган... может быть, я слышу их в последний раз... последние земные

звуки... Ave Maria, gratiae, plena! [29] радуйся, Милосердная! — милосердная Мать — Мать-природа. Радуйся, Мария, Благодать Земли боготворимая... Я люблю Тебя — я верую в любовь... Прекрасна земля, прекрасны люди, прекрасно небо надо мною... Все люблю — во все верую — верую — и умираю... Прощайте, дорогой друг, прощайте!»

1895

Примечания

1

«Русская Венера» (ит.).

2

До востребования (фр.).

3

Сильно выделяя (ит.).

4

Усиливаясь (ит.).

5

Русачка (искаж. фр.).

6

Судьба! (фр.).

7

Недотрога (фр.).

8

Ярких умов (фр.).

9

Это я! (фр.).

10

Красавица (фр.).

11

Любовная записка (фр.).

12

Мечь, расправа (ит.).

13

Здесь: простите за выражение (фр.).

14

Русская Венера (ит.).

15

Наедине (фр.).

16

Предположение (лат.).

17

Пусти!.. (фр.).

18

Вверх, вниз (фр.).

19

Черт возьми (ит.).

20

К праотцам (лат.).

21

Морщинки у глаз (фр.).

22

Полусвета (фр.).

23

Жизненный путь (лат.), здесь — распорядок дня.

24

Наемный убийца (фр.).

25

Даже если ты меня не любишь, тебя люблю я, и, если я люблю тебя, берегись! (фр.).

26

Флоренция, Фьезоле (фр.).

27

Кафедральный собор (ит.).

28

Радуйся, Мария... (лат.).

Радуйся, благодатная Мария! (лат.).